25 коп.

Индекс 70668

В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1991 ГОДА ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ «Тайна земли обетованной»;
А. ПЛАТОНОВ «Технический роман»;
В. КАРДИН «К вопросу о белых перчатках»;
А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ «РОССIЯ—POESIA»;
В. ТОКАРЕВА «Старая собака»;
З. ГИППИУС «Последние стихи»;
В. ЕРОФЕЕВ «Попугайчик»;
Ф. ИСКАНДЕР «Поэты и цари»;
А. ХУРГИН «Лишняя десятка»;
Н. ИЛЬИНА «Власть тьмы»;
Н. КОРЖАВИН «Письмо в Москву»;
П. СТРУВЕ «Скорее за дело!»
Л. РАЗГОН «Перед раскрытыми делами»;
Б. СЛУЦКИЙ «О других и о себе»;
Б. АХМАДУЛИНА «Побережье»;
Д. БАКИН «Цепь»;
В. СОЛОУХИН «Наваждение»;
Л. ПЛЕШАКОВ «Как трудно стать самим собой»;
Н. КЛЮЕВ «Песнь о Великой Матери»;
Б. ЧЕРНЫХ «Маленький портной»;
И. ИРТЕНЬЕВ «Елка в Кремле»;
Н. ИВАНОВА «Гибель богов»;
М. ЗАРАЕВ «Провинция»;
А. СОПРОВСКИЙ «Начало прощания».

ISSN 0132-2095. Б-ка «Огонек». 1991. № 51. 1—48.

БИБЛИОТЕКА
ОГОНЁК
МОСКВА

ISSN 0132-2095

№ 51 1991

Михаил БУЛГАКОВ

БЫЛ МАЙ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 51

Издается с января 1925 года

Михаил БУЛГАКОВ

БЫЛ МАЙ

ИЗ ПРОЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

Москва. 1991

Михаил БУЛГАКОВ

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940) родился в Киеве. В 1909 году окончил гимназию, в 1916 году — медицинский факультет Киевского университета, затем работал врачом в госпиталях Саратова, Киева, Каменец-Подольска и Черновиц, в земских больницах Смоленской губернии. В начале 1918 года Булгаков вернулся в Киев, где, занимаясь частной врачебной практикой, стал пробовать себя в литературе. Осенью 1919 года был мобилизован в санитарную службу Добровольческой армии, находился на Северном Кавказе. Позже, в 1920—1921 годах, жил во Владикавказе.

Осенью 1921 года Булгаков приехал в Москву, «чтобы остаться в ней навсегда». Служил секретарем Литературного отдела Главполитпросвета Наркомпроса, был сотрудником редакций газет «Рабочий» и «Гудок». Выпустил три сборника прозы, куда вошли ряд повестей, рассказов, фельетонов. Булгаковым написаны повести «Записки на манжетах», «Дьяволиада», «Роковые яйца», «Собачье сердце», романы «Белая гвардия», «Жизнь господина де Мольера», «Записки покойника» («Театральный роман»), «Мастер и Маргарита».

С середины 1920-х годов он стал известен как драматург. Перу Булгакова принадлежат пьесы «Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Багровый остров», «Кабала святош»(«Мольер»), «Бег», «Адам и Ева», «Полоумный Журден», «Иван Васильевич», «Блаженство», «Последние дни» («Пушкин»), «Батум».

В «Библиотеке «Огонек» выходили сборники рассказов Булгакова «Записки юного врача» (1963, № 23), «Записки на манжетах» (1988, № 7), фрагменты его дневников (1990, № 39). В настоящее издание включена в основном малоизвестная проза разных лет, имеющая автобиографический характер.

КРАСНАЯ КОРОНА

(Historia morbi) *

Больше всего я ненавижу солнце, громкие человеческие голоса и стук. Частый, частый стук. Людей боюсь до того, что, если вечером заслышу в коридоре чужие шаги и говор, начинаю вскрикивать. Поэтому и комната у меня особенная, покойная и лучшая, в самом конце коридора № 27. Никто не может ко мне прийти. Но, чтобы еще вернее обезопасить себя, я долго упрашивал Ивана Васильевича (плакал перед ним), чтобы он выдал мне удостоверение на машинке. Он согласился и написал, что я нахожусь под его покровительством и что никто не имеет права меня взять. Но я не очень верил, сказать по правде, в силу его подписи. Тогда он заставил подписать и профессора и приложил к бумаге круглую синюю печать. Это другое дело. Я знаю много случаев, когда люди оставались живы только благодаря тому, что у них нашли в кармане бумажку с круглой печатью. Правда, того рабочего в Бердянске, со щекой, вымазанной сажей, повесили на фонаре именно после того, как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью. Но то совсем другое. Он был преступник-большевик, и синяя печать была преступная печать. Она его загнала на фонарь, а фонарь был причиной моей болезни (не беспокойтесь, я прекрасно знаю, что я болен).

В сущности, еще раньше Коли со мной случилось что-то. Я ушел, чтоб не видеть, как человека вешают, но страх ушел вместе со мной в трясущихся ногах. Тогда я, конечно, не мог ничего поделать, но теперь я смело бы сказал:

— Господин генерал, вы — зверь! Не смеете вешать людей.

Уже по этому вы можете видеть, что я не труслив, о печати заговорил не из страха перед смертью. О нет, я ее не боюсь. Я сам застрелюсь,

* История болезни *(лат.)*.

и это будет скоро, потому что Коля доведет меня до отчаяния. Но я застрелюсь сам, чтобы не видеть и не слышать Колю. Мысль же, что придут другие люди... Это отвратно.

* * *

Целыми днями напролет я лежу на кушетке и смотрю в окно. Над нашим зеленым садом воздушный провал, за ним желтая громада в семь этажей повернулась ко мне глухой безоконной стеной, и под самой крышей огромный ржавый квадрат. Вывеска. «Зуботехническая лаборатория». Белыми буквами. Вначале я ее ненавидел. Потом привык, и, если бы ее сняли, я, пожалуй, скучал бы без нее. Она маячит целый день, на ней сосредоточиваю внимание и размышляю о многих важных вещах. Но вот наступает вечер. Темнеет купол, исчезают из глаз белые буквы. Я становлюсь серым, растворяюсь в мрачной гуще, как растворяются мои мысли. Сумерки — страшное и значительное время суток. Все гаснет, все мешается. Рыженький кот начинает бродить бархатными шажками по коридорам, и изредка я вскрикиваю. Но света не позволяю зажигать, потому что, если вспыхнет лампа, я целый вечер буду рыдать, заламывая руки. Лучше покорно ждать той минуты, когда в струистой тьме загорится самая важная, последняя картина.

* * *

Старуха мать сказала мне:

— Я долго так не проживу. Я вижу — безумие. Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю. Верни. Ты старший.

Я молчал.

Тогда она вложила в свои слова всю жажду и всю ее боль.

— Найди его. Ты притворяешься, что так нужно. Но я знаю тебя. Ты умный и давно уже понимаешь, что все это — безумие. Приведи его ко мне на день. Один. Я опять отпущу его.

Она лгала. Разве она отпустила бы его опять?

Я молчал.

— Я только хочу поцеловать его глаза. Ведь все равно его убьют. Ведь жалко? Он — мой мальчик. Кого же мне еще просить? Ты старший. Приведи его.

Я не выдержал и сказал, пряча глаза:

— Хорошо.

Но она схватила меня за рукав и повернула так, чтобы глянуть в лицо:

— Нет, ты поклянись, что привезешь его живым.

Как можно дать такую клятву?

А я, безумный человек, поклялся:

— Клянусь.

* * *

Мать малодушна. С этой мыслью я уехал. Но видел в Бердянске покосившийся фонарь. Господин генерал, я согласен, что я был преступен не менее вас, я страшно отвечаю за человека, выпачканного сажей, но брат здесь ни при чем. Ему 19 лет.

После Бердянска я твердо выполнил клятву и нашел его в двадцати верстах, у речонки. Необыкновенно был яркий день. В мутных клубах белой пыли по дороге на деревню, от которой тянуло гарью, шагом шел конный строй. В первой шеренге с краю он ехал, надвинув козырек на глаза. Все помню: правая шпора спустилась к самому каблуку. Ремешок от фуражки тянулся по щеке под подбородок.

— Коля! Коля! — я вскрикнул и подбежал к придорожной канаве. Он дрогнул. В шеренге хмурые, потные солдаты повернули головы.

— А... брат! — крикнул он в ответ. Он меня почему-то никогда не называл по имени, а всегда — брат. Я старше его на десять лет. И он всегда внимательно слушал мои слова. — Стой. Стой здесь, — продолжал он, — у лесочка. Сейчас мы подойдем. Я не могу оставить эскадрон.

У опушки, в стороне от спешившегося эскадрона, мы курили жадно. Я был спокоен и тверд. Все — безумие. Мать была совершенно права.

И я шептал ему:

— Лишь только из деревни вернетесь, едешь со мной в город. И немедленно отсюда, и навсегда.

— Что ты, брат?

— Молчи, — говорил я, — молчи. Я знаю.

Эскадрон сел. Колыхнулись, рысью пошли на черные клубы. И застучало вдали. Частый, частый стук.

Что может случиться за один час? Придут обратно. И я стал ждать у палатки с красным крестом.

* * *

Через час я увидел его. Так же, рысью, он возвращался. А эскадрона не было. Лишь два всадника с пиками скакали по бокам, и один из них — правый — то и дело склонялся к брату, как будто что-то шептал ему. Щурясь от солнца, я глядел на странный маскарад. Уехал в серенькой фуражке, вернулся в красной. И день окончился. Стал черный щит, на нем цветной головной убор. Не было волос, и не было лба. Вместо него был красный венчик с желтыми зубьями-клочьями.

Всадник — брат мой, в красной лохматой короне, — сидел неподвижно на взмыленной лошади, и, если б не поддерживал его бережно правый, можно было бы подумать: он едет на парад.

Всадник был горд в седле, но он был слеп и нем. Два красных пятна с потеками были там, где час назад светились ясные глаза...

Левый всадник спешился, левой рукой схватил повод, а правой тихонько потянул Колю за руку. Тот качнулся.

И голос сказал:

— Эх, вольноопределяющего нашего... осколком. Санитар, зови доктора...

Другой охнул и ответил:

— С-с... что ж, брат, доктора. Тут давай попа.

Тогда флер черный стал гуще и все затянул, даже головной убор...

* * *

Я ко всему привык. К белому нашему зданию, к сумеркам, к рыженькому коту, что трется у двери, но к его приходам я привыкнуть не могу. В первый раз, еще внизу, в № 63, он вышел из стены. В красной короне. В этом не было ничего страшного. Таким его я вижу во сне. Но я прекрасно знаю: раз он в короне, значит — мертвый. И вот он говорил, шевелил губами, запекшимися кровью. Он расклеил их, свел ноги вместе, руку к короне приложил и сказал:

— Брат, я не могу оставить эскадрон.

И с тех пор всегда, всегда одно и то же. Приходит в гимнастерке, с ремнями через плечо, с кривой шашкой и беззвучными шпорами, и говорит одно и то же. Честь. Затем:

— Брат, я не могу оставить эскадрон.

Что он сделал со мной в первый раз! Он вспугнул всю клинику. Мое же дело было кончено. Я рассуждаю здраво: раз в венчике — убитый, а если убитый приходит и говорит, значит — я сошел с ума.

* * *

Да. Вот сумерки. Важный час расплаты. Но был один раз, когда я заснул и увидел гостиную со старенькой мебелью красного плюша. Уютное кресло с треснувшей ножкой. В раме пыльной и черной — портрет на стене. Цветы на подставках. Пианино раскрыто, и партитура «Фауста» на нем. В дверях стоял он, и буйная радость зажгла мое сердце. Он не был всадником. Он был такой, как до проклятых дней. В черной тужурке, с вымазанным мелом локтем. Живые глаза лукаво смеялись, и клок волос свисал на лоб. Он кивал головой:

— Брат, идем ко мне в комнату. Что я тебе покажу!..

В гостиной было светло от луча, что тянулся из глаз, и бремя угрызения растаяло во мне. Никогда не было зловещего дня, в который я послал его, сказав «иди», не было стука и дымогари. Он никогда не уезжал, и всадником он не был. Он играл на пианино, звучали белые костяшки, все брызгал золотой сноп, и голос был жив и смеялся.

* * *

Потом я проснулся. И ничего нет. Ни света, ни глаз. Никогда больше не было такого сна. И зато в ту же ночь, чтобы усилить мою адову

муку, все ж таки пришел, неслышно ступая, всадник в боевом снаряжении и сказал, как решил говорить мне вечно.

Я решил положить конец. Сказал ему с силой:

— Что же ты, вечный мой палач? Зачем ты ходишь? Я все сознаю. С тебя я снимаю вину на себя, за то, что послал тебя на смертное дело. Тяжесть того, что был повешен, тоже кладу на себя. Раз я это говорю, ты прости и оставь меня.

Господин генерал, он промолчал и ушел.

Тогда я ожесточился от муки и всей моей волей пожелал, чтобы он хоть раз пришел к вам и руку к короне приложил. Уверяю вас, вы были бы кончены, так же, как и я. В два счета. Впрочем, может быть, вы тоже не одиноки в часы ночи? Кто знает, не ходит ли к вам тот грязный, в саже, с фонаря в Бердянске? Если так, по справедливости мы терпим. Помогать вам повесить я послал Колю, вешали же вы. По словесному приказу без номера.

Итак, он не ушел. Тогда я вспугнул его криком. Все встали. Прибежала фельдшерица, будили Ивана Васильевича. Я не хотел начать следующего дня, но мне не дали угробить себя. Связали полотном, из рук вырвали стекло, забинтовали. С тех пор я в № 27-м. После снадобья я стал засыпать и слышал, как фельдшерица говорила в коридоре:

— Безнадежен.

* * *

Это верно. У меня нет надежды. Напрасно в жгучей тоске в сумерки я жду сна — старую знакомую комнату и мирный свет лучистых глаз. Ничего этого нет и никогда не будет.

Не тает бремя. И в ночь покорно жду, что придет знакомый всадник с незрячими глазами и скажет мне хрипло:

— Я не могу оставить эскадрон.

Да, я безнадежен. Он замучит меня.

1922.

БОГЕМА

I

Как существовать при помощи литературы. Верхом на пьесе в Тифлис

Как перед истинным богом, скажу, если кто меня спросит, чего я заслуживаю: заслуживаю я каторжных работ.

Впрочем, это не за Тифлис, в Тифлисе я ничего плохого не сделал. Это за Владикавказ.

Доживал я во Владикавказе последние дни, и грозный призрак голода (штамп! штамп!.. «грозный призрак»... Впрочем, плевать! Эти записки никогда не увидят света!), так я говорю — грозный призрак голода постучался в мою скромную квартиру, полученную мною по ордеру. А вслед за призраком постучался присяжный поверенный Гензулаев — светлая личность с усами, подстриженными щеточкой, и вдохновенным лицом.

Между нами произошел разговор. Привожу его здесь стенографически:

— Что ж это вы так приуныли? (Это Гензулаев.)

— Придется помирать с голоду в этом вашем паршивом Владикавказе...

— Не спорю. Владикавказ — паршивый город. Вряд ли даже есть на свете город паршивее. Но как же так помирать?

— Больше делать нечего. Я исчерпал все возможности. В подотделе искусств денег нет и жалованья платить не будут. Вступительные слова перед пьесами кончились. Фельетон в местной владикавказской газете я напечатал и получил за него 1200 рублей и обещание, что меня посадят в особый отдел, если я напечатаю еще что-нибудь похожее на этот первый фельетон.

— За что? (Гензулаев испугался. Оно и понятно. Хотят посадить — значит, я подозрительный.)

— За насмешки.

— Ну-у, вздор. Просто они здесь ни черта не понимают в фельетонах. Знаете что...

И вот что сделал Гензулаев. Он меня подстрекнул написать вместе с ним революционную пьесу из туземного быта. Оговариваю здесь Гензулаева. Он меня научил, а я по молодости и неопытности согласился. Какое отношение имеет Гензулаев к сочинению пьес? Никакого, понятное дело. Сам он мне тут же признался, что искренно ненавидит литературу, вызвав во мне взрыв симпатии к нему. Я тоже ненавижу литературу, и уж, поверьте, гораздо сильнее Гензулаева. Но Гензулаев назубок знает туземный быт, если, конечно, бытом можно назвать шашлычные завтраки на фоне самых постылых гор, какие есть в мире, кинжалы неважной стали, поджарых лошадей, духаны и отвратительную, выворачивающую душу музыку.

Так-так, стало быть, я буду сочинять, а Гензулаев подсыпать этот быт.

— Идиоты будут те, которые эту пьесу купят.

— Идиоты мы будем, если мы эту пьесу не продадим.

Мы ее написали в 7½ дней, потратив, таким образом, на полтора дня больше, чем на сотворение мира. Несмотря на это, она вышла еще хуже, чем мир.

Одно могу сказать: если когда-нибудь будет конкурс на самую бессмысленную, бездарную и наглую пьесу, наша получит первую премию (хотя, впрочем... впрочем,.. вспоминаю сейчас некоторые пьесы 1921—1924 годов и начинаю сомневаться...), ну, не первую,— вторую или третью.

Словом: после написания этой пьесы на мне несмываемое клеймо, и единственно, на что я надеюсь,— это что пьеса истлела уже в недрах туземного подотдела искусств. Расписка, черт с ней, пусть останется. Она была на 200000 рублей. Сто — мне. Сто — Гензулаеву. Пьеса прошла три раза (рекорд), и вызывали авторов. Гензулаев выходил и кланялся, приложив руку к ключице. И я выходил и делал гримасы, чтобы моего лица не узнали на фотографической карточке (сцену снимали при магнии). Благодаря этим гримасам в городе расплылся слух, что я гениальный, но и сумасшедший в то же время человек. Было обидно, в особенности потому, что гримасы были вовсе не нужны: снимал нас реквизированный и прикрепленный к театру фотограф, и поэтому на карточке не вышло ничего, кроме ружья, надписи «Да здравст...» и полос тумана.

Семь тысяч я съел в 2 дня, а на остальные 93 решил уехать из Владикавказа.

* * *

Почему же? Почему именно в Тифлис? Убейте, теперь не понимаю. Хотя припоминаю: говорили, что:

1) В Тифлисе открыты все магазины.

2) — „ — есть вино.

3) — „ — очень жарко и дешевы фрукты.

4) — „ — много газет, и т. д., и т. д.

Я решил ехать. И прежде всего уложился. Взял свое имущество — одеяло, немного белья и керосинку.

В 1921 году было несколько иначе, чем в 1924 г. Именно нельзя было так ездить: снялся и поехал, черт знает куда! Очевидно, те, что ведали разъездами граждан, рассуждали приблизительно таким образом:

— Ежели каждый начнет ездить, то что же это получится?

Нужно было поэтому получить разрешение. Я немедленно подал, куда следует, заявление и в графе, в которой спрашивается:

— А зачем едешь?

Написал с гордостью:

— В Тифлис для постановки моей революционной пьесы.

Во всем Владикавказе был только один человек, не знавший меня в лицо, и это именно тот бравый юноша с пистолетом на бедре, каковой юноша стоял, как пришитый, у стола, где выдавались ордера на проезд в Тифлис.

Когда очередь дошла до моего ордера и я протянул к нему руку,

юноша остановил ее на полпути и сказал голосом звонким и непреклонным:

— Зачем едете?

— Для постановки моей революционной пьесы.

Тогда юноша запечатал ордер в конверт и конверт, а с ним и меня вручил некоему человеку с винтовкой, молвив:

— В особый отдел.

— А зачем? — спросил я.

На что юноша не ответил.

Очень яркое солнце (это единственное, что есть хорошего во Владикавказе) освещало меня, пока я шел по мостовой, имея по левую руку от себя человека с винтовкой. Он решил развлечь меня разговором и сказал:

— Сейчас через базар будем проходить, так ты не вздумай побежать. Грех выйдет.

— Если бы вы даже упрашивали меня сделать это, я не сделаю,— ответил я совершенно искренно.

И угостил его папиросой.

Дружески покуривая, мы пришли в особый отдел.

Я бегло, проходя через двор, припомнил все свои преступления. Оказалось — три.

1) В 1907 году, получив 1 руб. 50 коп. на покупку физики Краевича, истратил их на кинематограф.

2) В 1913 г. женился, вопреки воле матери.

3) В 1921 г. написал этот знаменитый фельетон.

Пьеса? Но, позвольте, может, пьеса вовсе не криминал? А наоборот.

Для сведения лиц, не бывавших в особом отделе: большая комната с ковром на полу, огромнейший, невероятных размеров письменный стол, восемь различных конструкций телефонных аппаратов, к ним шнурки зеленого, оранжевого и серого цвета и за столом маленький человек в военной форме, с очень симпатичным лицом.

Густые кроны каштанов в открытых окнах. Сидящий за столом, увидав меня, хотел превратить свое лицо из симпатичного в неприветливое и несимпатичное, причем это удалось ему только наполовину.

Он вынул из ящика стола фотографическую карточку и стал всматриваться по очереди то в меня, то в нее.

— Э, нет. Это не я,— поспешно заявил я.

— Усы сбрить можно,— задумчиво отозвался симпатичный.

— Да, но вы всмотритесь,— заговорил я,— этот черный как вакса, и ему лет сорок пять. А я блондин, и мне двадцать восемь.

— Краска? — неуверенно сказал маленький.

— А лысина? И кроме того, всмотритесь в нос. Умоляю вас обратить внимание на нос.

Маленький всмотрелся в мой нос. Отчаяние овладело им.

— Верно. Не похож.

Произошла пауза, и солнечный зайчик родился в чернильнице.
— Вы бухгалтер?
— Боже меня сохрани.
Пауза. И кроны каштанов. Лепной потолок. Амуры.
— А зачем вы в Тифлис едете? Отвечай быстро, не задумываясь,— скороговоркой проговорил маленький.
— Для постановки моей революционной пьесы,— скороговоркой ответил я.
Маленький открыл рот и отшатнулся и весь вспыхнул в луче.
— Пьесы сочиняете?
— Да. Приходится.
— Ишь ты. Хорошую пьесу написали?
В тоне его было что-то, что могло тронуть любое сердце, но только не мое. Повторяю, я заслуживаю каторги. Пряча глаза, я сказал:
— Да, хорошую.
Да. Да. Да. Это четвертое преступление, и самое тяжкое из всех. Если б я хотел остаться чистым перед особым отделом, я должен был бы ответить так:
— Нет. Она не хорошая пьеса. Она — дрянь. Просто мне очень хочется в Тифлис.
Я смотрел на носки своих разорванных сапог и молчал. Очнулся я, когда маленький вручил мне папиросу и мой ордер на выезд.
Маленький сказал тому с винтовкой:
— Проводи литератора наружу.

* * *

Особый отдел! Забудь об этом! Ты видишь, я признался. Я снял бремя трех лет. То, что я учинил в особом отделе, для меня хуже, чем саботаж, контрреволюция и преступление по должности.
Но забудь!!!

II

Вечные странники

В 1924 году, говорят, из Владикавказа в Тифлис можно было проехать просто: нанять автомобиль во Владикавказе и по Военно-Грузинской дороге, где необычайно красиво. И всего 210 верст. Но в 1921 году самое слово «нанять» звучало во Владикавказе как слово иностранное.
Нужно было ехать так: идти с одеялом и керосинкой на вокзал и там ходить по путям, всматриваясь в бесконечные составы теплушек. Вытирая пот, на седьмом пути увидал у открытой теплушки человека в ночных туфлях и в бороде веером. Он полоскал чайник и повторял слово «Баку».

— Возьмите меня с собой,— попросил я.

— Не возьму,— ответил бородатый.

— Пожалуйста, для постановки революционной пьесы,— сказал я.

— Не возьму.

Бородач по доске с чайником влез в теплушку. Я сел на одеяло у горячей рельсы и закурил. Очень густой зной вливался в просветы между вагонами, и я напился из крана на пути. Потом опять сел и чувствовал, как пышет в лихорадке теплушка. Борода выглянула.

— А какая пьеса?— спросила она.

— Вот.

Я развязал одеяло и вынул пьесу.

— Сами написали?— недоверчиво спросил владелец теплушки.

— Еще Гензулаев.

— Не знаю такого.

— Мне необходимо уехать.

— Ежели не придут двое, тогда, может быть, возьму. Только на нары не претендовать. Вы не думайте, что если вы пьесу написали, то можете выкомаривать. Ехать-то долго, а мы сами из политпросвета.

— Я не буду выкомаривать,— сказал я, чувствуя дуновение надежды в расплавленном зное,— на полу могу.

Бородатый сказал, сидя на нарах:

— У вас провизии нету?

— Денег немного есть.

Бородатый подумал.

— Вот что... Я вас на наш паек зачислю по дороге. Только вы будете участвовать в нашей дорожной газете. Вы что можете в газете писать?

— Все что угодно,— уверил я, овладевая пайком и жуя верхнюю корку.

— Даже фельетон?— спросил он, и по лицу его было видно, что он считает меня вруном.

— Фельетон — моя специальность.

Три лица появились в тени нар и одни босые ноги. Все смотрели на меня.

— Федор! Здесь на нарах одно место есть. Степанов не придет, сукин сын,— басом сказали ноги,— я пущу товарища фельетониста.

— Ну, пусти,— растерянно сказал Федор с бородой.— А какой фельетон вы напишете?

— Вечные странники.

— Как будет начинаться?— спросили нары.— Да вы полезайте к нам чай пить.

— Очень хорошо — вечные странники,— отозвался Федор, снимая сапоги,— вы бы сразу сказали про фельетон, чем на рельсе сидеть два часа. Поступайте к нам.

* * *

Огромный чудный вечер сменяет во Владикавказе жгучий день. Края для вечера — сизые горы. На них вечерний дым. Дно чаши — равнина. И по дну, потряхивая, пошли колеса. Вечные странники. Навеки прощай, Гензулаев. Прощай, Владикавказ!

1924.

СОРОК СОРОКОВ

Решительно скажу: едва
Другая сыщется столица как Москва.

Панорама первая. Голые времена

Панорама первая была в густой тьме, потому что въехал я в Москву ночью. Это было в конце сентября 1921-го года. По гроб моей жизни не забуду ослепительного фонаря на Брянском вокзале и двух фонарей на Дорогомиловском мосту, указывающих путь в родную столицу. Ибо, что бы ни происходило, что бы вы ни говорили, Москва — мать, Москва — родной город. Итак, первая панорама: глыба мрака и три огня.

Затем Москва показалась при дневном освещении, сперва в слезливом осеннем тумане, в последующие дни в жгучем морозе. Белые дни и драповое пальто. Драп, драп. О, чертова дерюга! Я не могу описать, насколько я мерз. Мерз и бегал. Бегал и мерз.

Теперь, когда все откормились жирами и фосфором, поэты начинают писать о том, что это были героические времена. Категорически заявляю, что я не герой. У меня нет этого в натуре. Я человек обыкновенный — рожденный ползать, — и, ползая по Москве, я чуть не умер с голоду. Никто кормить меня не желал. Все буржуи заперлись на дверные цепочки и через щель высовывали липовые мандаты и удостоверения. Закутавшись в мандаты, как в простыни, они великолепно пережили голод, холод, нашествие «чижиков», трудгужналог и т. под. напасти. Сердца их стали черствы, как булки, продававшиеся тогда под часами на углу Садовой и Тверской.

К героям нечего было и идти. Герои были сами голы, как соколы, и питались какими-то инструкциями и желтой крупой, в которой попадались небольшие красивые камушки вроде аметистов.

Я оказался как раз посредине обеих групп, и совершенно ясно и просто предо мною лег лотерейный билет с надписью — смерть. Увидев его, я словно проснулся. Я развил энергию, неслыханную, чудовищную. Я не погиб, несмотря на то что удары сыпались на меня градом, и при этом с двух сторон. Буржуи гнали меня, при первом же взгляде на мой костюм, в стан пролетариев. Пролетарии выселяли меня с квар-

тиры на том основании, что если я и не чистой воды буржуй, то, во всяком случае, его суррогат. И не выселили. И не выселят. Смею вас заверить. Я перенял защитные приемы в обоих лагерях. Я оброс мандатами, как собака шерстью, и научился питаться мелкокаратной разноцветной кашей. Тело мое стало худым и жилистым, сердце железным, глаза зоркими. Я — закален.

Закаленный, с удостоверениями в кармане, в драповой дерюге, я шел по Москве и видел панораму. Окна были в пыли. Они были заколочены. Но кое-где уже торговали пирожками. На углах обязательно помещалась вывеска «Распределитель N...». Убейте меня, и до сих пор не знаю, что в них распределяли. Внутри не было ничего, кроме паутины и сморщенной бабы в шерстяном платке с дырой на темени. Баба, как сейчас помню, взмахивала руками и сипло бормотала:

— Заперто, заперто, и никого, товарищи, нетути!

И после этого провалилась в какой-то люк.

* * *

Возможно, что это были героические времена, но это были голые времена.

Панорама вторая. Сверху вниз

На самую высшую точку в центре Москвы я поднялся в серый апрельский день. Это была высшая точка — верхняя платформа на плоской крыше дома бывшего Нирензее, а ныне Дома Советов в Гнездниковском переулке. Москва лежала, до самых краев видная, внизу. Не то дым, не то туман стлался над ней, но сквозь дымку глядели бесчисленные кровли, фабричные трубы и маковки сорока сороков. Апрельский ветер дул на платформы крыши, на ней было пусто, как пусто на душе. Но все же это был уже теплый ветер. И казалось, что он задувает снизу, что тепло подымается от чрева Москвы. Оно еще не ворчало, как ворчит грозно и радостно чрево больших, живых городов, но снизу, сквозь тонкую завесу тумана, подымался все же какой-то звук. Он был не ясен, слаб, но всеобъемлющ. От центра до бульварных колец, от бульварных колец далеко, до самых краев, до сизой дымки, скрывающей подмосковные пространства.

— Москва звучит, кажется, — неуверенно сказал я, наклоняясь над перилами.

— Это — нэп, — ответил мой спутник, придерживая шляпу.

— Брось ты это чертово слово! — ответил я. — Это вовсе не нэп, это сама жизнь. Москва начинает жить.

На душе у меня было радостно и страшно. Москва начинает жить, это было ясно, но буду ли жить я? Ах, это были еще трудные времена. За завтрашний день нельзя было поручиться. Но все же я и подобные

мне не ели уже крупы и сахарину. Было мясо на обед. Впервые за три года я не «получил» ботинки, а «купил» их; они были не вдвое больше моей ноги, а только номера на два.

Внизу было занятно и страшновато. Нэпманы уже ездили на извозчиках, хамили по всей Москве. Я со страхом глядел на их лики и испытывал дрожь при мысли, что они заполняют всю Москву, что у них в кармане золотые десятки, что они меня выбросят из моей комнаты, что они сильные, зубастые, злобные, с каменными сердцами.

И, спустившись с высшей точки в гущу, я начал жить опять. Они не выбросили. И не выбросят, смею уверить.

Внизу меня ждала радость, ибо нет нэпа без добра: баб с дырами на темени выкинули всех до единой. Паутина исчезла, в окнах кое-где горели электрические лампочки и гирляндами висели подтяжки.

Это был апрель 1922 года.

Панорама третья. На полный ход

В июльский душный вечер я вновь поднялся на кровлю того же девятиэтажного нирензеевского дома. Цепями огней светились бульварные кольца, и радиусы огней уходили к краям Москвы. Пыль не достигала сюда, но звук достиг. Теперь это был явственный звук: Москва ворчала, гудела внутри. Огни, казалось, трепетали, то желтые, то белые огни в черно-синей ночи. Скрежет шел от трамваев, они звякали внизу, и, глухо, вперебой, с бульвара неслись звуки оркестров.

На вышке трепетал свет. Гудел аппарат — на экране был помещичий дом с белыми колоннами. А на нижней платформе, окаймляющей верхнюю, при набежавшем иногда ветре шелестели белые салфетки на столах и фрачные лакеи бежали с блестящими блюдами. Нэпманы влезли и на крышу. Под ногами были четыре приплюснутых головы с низкими лбами и мощными челюстями. Четыре накрашенных женских лица торчали среди нэпманских голов, и стол был залит цветами. Белые, красные, голубые розы покрывали стол. На нем было только пять кусочков свободного места, и эти места были заняты бутылками. На эстраде некто в красной рубашке, с партнершей — девицей в сарафане, — пел частушки:

У Чичерина в Москве
Нотное издательство!

Пианино рассыпалось каскадами.

— Бра-во! — кричали нэпманы, звеня стаканами, — бис!

Приплюснутая и сверху казавшаяся лишенной ног девица семенила к столу с фужером, полным цветов.

— Бис! — кричал нэпман, потоптал ногами, левой рукой обнимал даму за талию, а правой покупал цветок. За неимением места в фужерах

на столе, он воткнул его в даму, как раз в то место, где кончался корсаж и начиналось её желтое тело. Дама хихикнула, дрогнула и ошпарила нэпмана таким взглядом, что он долго глядел мутно, словно сквозь пелену. Лакей вырос из асфальта и перегнулся. Нэпман колебался не более минуты над карточкой и заказал. Лакей махнул салфеткой, всунулся в стеклянную дыру и четко бросил:

— Восемь раз оливье, два лангет-пикана, два бифштекса.

С эстрады грянул и затоптал лихой, веселый матросский танец. Замелькали ноги в лакированных туфлях и в штанах клешем.

Я спустился с верхней площадки на нижнюю, потом — в стеклянную дверь и по бесконечным широким нирензеевским лестницам ушел вниз. Тверская приняла меня огнями, автомобильными глазами, шорохом ног. У Страстного монастыря толпа стояла черной стеной, давали сигналы автомобили, обходя её. Над толпой висел экран. Дрожа, дробясь черными точками, мутясь, погасая и опять вспыхивая на белом полотне, плыли картины. Бронепоезд с открытыми площадками шел, колыхаясь. На площадке, молниеносно взмахивая руками, оборванные артиллеристы с бантами на груди вгоняли снаряд в орудие. Взмах руки, орудие вздрагивало, и облако дыма отлетало от него.

На Тверской звенели трамваи, и мостовая была извороченной грудой кубиков. Горели жаровни. Москву чинили и днем и ночью.

Это был душный июль 1922 года.

Панорама четвертая. Сейчас

Иногда кажется, что Больших театров в Москве два. Один такой: в сумерки на нем загорается огненная надпись. В кронштейнах вырастают красные флаги. След от сорванного орла на фронтоне бледнеет. Зеленая квадрига чернеет, очертания её расплываются в сумерках. Она становится мрачной. Сквер пустеет. Цепями протягиваются непреклонные фигуры в тулупах поверх шинелей, в шлемах, с винтовками, с примкнутыми штыками. В переулках на конях сидят всадники в черных шлемах. Окна светятся. В Большом идет съезд.

Другой — такой: в излюбленный час театральной музы, в семь с половиной, нет сияющей звезды, нет флагов, нет длинной цепи часовых у сквера. Большой стоит громадой, как стоял десятки лет. Между колоннами желто-тускловатые пятна света. Приветливые театральные огни. Черные фигуры текут к колоннам. Часа через два внутри полутемного зала в ярусах громоздятся головы. В ложах на темном фоне ряды светлых треугольников и ромбов от раздвинутых завес. На сукне волны света, и волной катится в грохоте меди и раскатах хора триумф Радамеса. В антрактах, в свете, золотым и красным сияет театр и кажется таким же нарядным, как раньше.

В антракте золото-красный зал шелестит. В ложах бенуара причесанные парикмахером женские головы. Штатские сидят, заложив нож-

ку на ножку, и, как загипнотизированные, смотрят на кончики своих лакированных ботинок (я тоже купил себе лакированные). Чин антрактового действа нарушает только одна нэпманша. Перегнувшись через барьеры ложи в бельэтаже, она взволнованно кричит через весь партер, сложа руки рупором:

— Дора! Пробирайся сюда! Митя и Соня у нас в ложе!

Днем стоит Большой театр желтый и грузный, облупившийся, потертый. Трамваи огибают Малый, идут к нему. «Мюр и Мерилиз», лишь начнет темнеть, показывает в огромных стеклах ряды желтых огней. На крыше его вырос круглый щит с буквами: «Государственный универсальный магазин». В центре щита лампа загорается вечером. Над Незлобинским театром две огненные строчки, то гаснут, то вспыхивают: «Сегодня банкноты 251». В Столешниковом на экране корявые строчки: «Почему мы советуем покупать ботинки только в ...». На Страстной площади на крыше экран — объявления, то цветные, то черные, вспыхивают и погасают. Там же, но на другом углу, купол вспыхнет, потом потемнеет, вспыхнет и потемнеет «Реклама».

Все больше и больше этих зыбких, цветных огней на Тверской, Мясницкой, на Арбате, Петровке. Москва заливается огнями с каждым днем все сильней. В окнах магазинов всю ночь не гаснут дежурные лампы, а в некоторых почему-то освещение à giorno*. Да полуночи торгуют гастрономические магазины МПО.

Москва спит теперь, и ночью не гася всех огненных глаз.

С утра вспыхивает гудками, звонками, разбрасывает по тротуарам волны пешеходов. Грузовики, ковыляя и погромыхивая цепями, ползут по разъезженному, рыхлому, бурому снегу. В ясные дни с Ходынки летят с басовым гудением аэропланы. На Лубянке вкруговую, как и прежде, идут трамваи, выскакивая с Мясницкой и с Большой Лубянки. Мимо первопечатника Федорова, под старой зубчатой стеной они один за другим валят под уклон вниз к «Метрополю». Мутные стекла в первом этаже «Метрополя» просветлели, словно с них бельма сняли, и показали ряды цветных книжных обложек. Ночью драгоценным камнем над подъездом светится шар «Госкино-II». Напротив через сквер неожиданно воскрес Тестов и высунул в подъезде карточку: «Крестьянский суп». В Охотном ряду вывески так огромны, что подавляют магазинчики. Но Параскева Пятница глядит печально и тускло. Говорят, что её снесут. Это жаль. Сколько видал этот узкий проход между окнами с мясными тушами и ларьками букинистов и белым боком церкви, ставшей по самой середине улицы.

Часовню, что была на маленькой площади, там, где Тверская скрещивается с Охотным и Моховой, уже снесли.

---

* яркое *(фр.)*

Торговые ряды на Красной площади, являвшие несколько лет изумительный пример мерзости запустения, полны магазинов. В центре у фонтана гудит и шаркает толпа людей, торгующих валютой. Их симпатичные лица портит одно: некоторое выражение неуверенности в глазах. Это, по-моему, вполне понятно: в ГУМе лишь три выхода. Другое дело у Ильинских ворот — сквер, простор, далеко видно... Эпидемически буйно растут трактиры и воскресают. На Цветном бульваре, в дыму, в грохоте, рвутся с лязгом звуки «натуральной» польки:

Пойдем, пойдем, ангел милый,
Польку танцевать с тобой.
С-с-с-с-слышу, с-с-слышу с-с-сл...
...Польки звуки неземной!!

Извозчики теперь оборачиваются с козел, вступают в беседу, жалуются на тугие времена, на то, что их много, а публика норовит сесть в трамвай. Ветер мотает кинорекламы на полотнищах поперек улицы. Заборы исчезли под миллионами разноцветных афиш. Зовут на новые заграничные фильмы, возвещают «Суд над проституткой Заборовой, заразившей красноармейца сифилисом», десятки диспутов, лекций, концертов. Судят «Санина», судят «Яму» Куприна, судят «Отца Сергия», играют без дирижера Вагнера, ставят «Землю дыбом» с военными прожекторами и автомобилями, дают концерты по радио, портные шьют стрелецкие гимнастерки, нашивают сияющие звезды на рукава и шевроны, полные ромбов. Завалили киоски журналами и десятками газет...

И вот брызнуло мартовское солнце, растопило снег. Ещё басистей загудели грузовики, яростней и веселей. К Воробьевым горам уже провели ветку, там роют, возят доски, там скрипят тачки — готовят Всероссийскую выставку.

И, сидя у себя в пятом этаже, в комнате, заваленной букинистскими книгами, я мечтаю, как летом влезу на Воробьевы, туда, откуда глядел Наполеон, и посмотрю, как горят сорок сороков на семи холмах, как дышит, блестит Москва. Москва — мать.

1923.

ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА

Поэма в X пунктах с прологом и эпилогом

— Держи, держи, дурак! — кричал Чичиков Селифану.
— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами в аршин. — Не видишь, леший дери твою душу, казенный экипаж.

ПРОЛОГ

Диковинный сон... Будто бы в царстве теней, над входом в которое мерцает неугасимая лампада с надписью «Мертвые души», шутник сатана открыл двери. Зашевелилось мертвое царство, и потянулась из него бесконечная вереница.

Манилов в шубе на больших медведях, Ноздрев в чужом экипаже, Держиморда на пожарной трубе, Селифан, Петрушка, Фетинья...

А самым последним тронулся он — Павел Иванович Чичиков в знаменитой своей бричке.

И двинулась вся ватага на Советскую Русь, и произошли в ней тогда изумительные происшествия. А какие — тому следуют пункты...

I

Пересев в Москве из брички в автомобиль и летя в нем по московским буеракам, Чичиков ругательски ругал Гоголя:

— Чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копну величиною! Испакостил, изгадил репутацию так, что некуда носа показать. Ведь, ежели узнают, что я — Чичиков, натурально, в два счета выкинут к чертовой матери! Да еще хорошо, как только выкинут, а то еще, храни бог, на Лубянке насидишься. А все Гоголь, чтоб ни ему, ни его родне...

И, размышляя таким образом, въехал в ворота той самой гостиницы, из которой сто лет тому назад выехал.

Все решительно в ней было по-прежнему: из щелей выглядывали тараканы, и даже их как будто больше сделалось, но были и некоторые измененьица. Так, например, вместо вывески «Гостиница» висел плакат с надписью: «Общежитие № такой-то», и, само собой, грязь и гадость была такая, о которой Гоголь даже понятия не имел.

— Комнату!

— Ордер пожалте!

Ни одной секунды не смутился гениальный Павел Иванович.

— Управляющего!

— Трах!— управляющий старый знакомый: дядя Лысый Пимен, который некогда держал «Акульку», а теперь открыл на Тверской кафе на русскую ногу с немецкими затеями: аршадами, бальзамами и, конечно, с проститутками. Гость и управляющий облобызались, шушукнулись, и дело уладилось вмиг без всякого ордера. Закусил Павел Иванович, чем бог послал, и полетел устраиваться на службу.

II

Являлся всюду и всех очаровал поклонами несколько набок и колоссальной эрудицией, которой всегда отличался.

— Пишите анкету.

Дали Павлу Ивановичу анкетный лист в аршин длины, и на нем сто вопросов самых каверзных: откуда, да где был, да почему?..

Пяти минут не просидел Павел Иванович и исписал анкету кругом. Дрогнула только у него рука, когда подавал ее.

«Ну,— подумал,— прочитают сейчас, что я за сокровище, и...»

И ничего ровно не случилось.

Во-первых, никто анкету не читал, во-вторых, попала она в руки к барышне-регистраторше, которая распорядилась ею по обычаю: провела вместо входящего по исходящему и затем немедленно ее куда-то засунула, так что анкета как в воду канула.

Ухмыльнулся Чичиков и начал служить.

III

А дальше пошло легче и легче. Прежде всего, оглянулся Чичиков и видит: куда ни плюнь, свой сидит. Полетел в учреждение, где пайки-де выдают, и слышит:

— Знаю я вас, скалдырников: возьмете живого кота, обдерете, да и даете на паек! А вы дайте мне бараний бок с кашей. Потому что лягушку вашу пайковую мне хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот и гнилой селедки тоже не возьму!

Глянул — Собакевич.

Тот, как приехал, первым долгом двинулся паек требовать. И ведь получил! Съел и надбавки попросил. Дали. Мало! Тогда ему второй отвалили; был простой — дали ударный. Мало! Дали какой-то бронированный. Слопал и еще потребовал. И со скандалом потребовал! Обругал всех христопродавцами, сказал, что мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет и что есть один только порядочный человек делопроизводитель, да и тот, если сказать правду, свинья!

Дали академический.

Чичиков, лишь увидел, как Собакевич пайками орудует, моментально и сам устроился. Но, конечно, превзошел и Собакевича. На себя получил, на несуществующую жену с ребенком, на Селифана, на Петрушку, на того самого дядю, о котором Бетрищеву рассказывал, на старуху мать, которой на свете не было. И всем академические. Так что продукты к нему стали возить на грузовике.

А наладивши таким образом вопрос с питанием, двинулся в другие учреждения получать места.

Пролетая как-то раз в автомобиле по Кузнецкому, встретил Ноздрева. Тот первым долгом сообщил, что он уже продал и цепочку, и часы. И точно, ни часов, ни цепочки на нем не было. Но Ноздрев не унывал. Рассказал, как повезло ему на лотерее, когда он выиграл полфунта по-

стного масла, ламповое стекло и подметки на детские ботинки, но как ему потом не повезло и он, канальство, еще своих шестьсот миллионов доложил. Рассказал, как предложил Внешторгу поставить за границу партию настоящих кавказских кинжалов. И поставил. И заработал бы на этом тьму, если б не мерзавцы англичане, которые увидели, что на кинжалах надпись «Мастер Савелий Сибиряков», и все их забраковали. Затащил Чичикова к себе в номер и напоил изумительным, якобы из Франции полученным, коньяком, в котором, однако, был слышен самогон во всей его силе. И наконец до того доврался, что стал уверять, что ему выдали восемьсот аршин мануфактуры, голубой автомобиль с золотом и ордер на помещение в здании с колоннами.

Когда же зять его Мижуев выразил сомнение, обругал его, но не Софроном, а просто сволочью.

Одним словом, надоел Чичикову до того, что тот не знал, как и ноги от него унести.

Но рассказы Ноздрева навели его на мысль и самому заняться внешней торговлей.

IV

Так он и сделал. И опять анкету написал и начал действовать — и показал себя во всем блеске. Баранов в двойных тулупах водил через границу, а под тулупами брабантские кружева; бриллианты возил в колесах, дышлах, в ушах и невесть в каких местах.

И в самом скором времени очутились у него около пятисот апельсинов капиталу.

Но он не унялся, а подал куда следует заявление, что желает снять в аренду некое предприятие, и расписал необыкновенными красками, какие от этого государству будут выгоды.

В учреждении только рты расстегнули — выгода действительно выходила колоссальная. Попросили указать предприятие. Извольте. На Тверском бульваре, как раз против Страстного монастыря, перейдя улицу, и называется — «Пампуш на Твербуле». Послали запрос куда следует: есть ли там такая штука. Ответили: есть и всей Москве известна. Прекрасно.

— Подайте техническую смету.

У Чичикова смета уже за пазухой.

Дали в аренду.

Тогда Чичиков, не теряя времени, полетел куда следует:

— Аванс пожалте.

— Представьте ведомость в трех экземплярах с надлежащими подписями и приложением печатей.

Двух часов не прошло, представил и ведомость. По всей форме. Печатей столько, как в небе звезд. И подписи налицо.

За заведующего — Неуважай-Корыто, за секретаря — Кувшинное Рыло, за председателя тарифно-расценочной комиссии — Елизавета Воробей.

— Верно. Получите ордер.

Кассир только крякнул, глянув на итог.

Расписался Чичиков и на трех извозчиках увез дензнаки.

А затем в другое учреждение:

— Пожалте подтоварную ссуду.

— Покажите товары.

— Сделайте одолжение. Агента позвольте.

— Дать агента!

Тьфу! И агент знакомый: Ротозей Емельян.

Забрал его Чичиков и повез. Привез в первый попавшийся подвал и показывает. Видит Емельян — лежит несметное количество продуктов.

— М-да... И все ваше?

— Все мое.

— Ну, — говорит Емельян, — поздравляю вас в таком случае. Вы даже не мильонщик, а трильонщик!

А Ноздрев, который тут же с ними увязался, еще подлил масла в огонь.

— Видишь, — говорит, — автомобиль в ворота с сапогами едет? Так это тоже его сапоги.

А потом вошел в азарт, потащил Емельяна на улицу и показывает:

— Видишь магазины? Так это все его магазины. Все, что по эту сторону улицы, — все его. А что по ту сторону — тоже его. Трамвай видишь? Его. Фонари?.. Его. Видишь? Видишь?

И вертит его во все стороны.

Так что Емельян взмолился:

— Верю! Вижу... только отпусти душу на покаяние.

Поехали обратно в учреждение.

Там спрашивают:

— Ну, что?

Емельян только рукой махнул.

— Это, — говорит, — неописуемо!

— Ну, раз неописуемо — выдать ему $n+1$ миллиардов.

V

Дальше же карьера Чичикова приняла головокружительный характер. Уму непостижимо, что он вытворял. Основал трест для выделки железа из деревянных опилок и тоже ссуду получил. Вошел пайщиком в огромный кооператив и всю Москву накормил колбасой из дохлого мяса. Помещица Коробочка, услышав, что теперь в Москве «все разрешено», пожелала недвижимость приобрести; он вошел в компанию с За-

мухрышкиным и Утешительным и продал ей Манеж, что против Университета. Взял подряд на электрификацию города, от которого в три года никуда не доскачешь, и, войдя в контакт с бывшим городничим, разметал какой-то забор, поставил вехи, чтобы было похоже на планировку, а насчет денег, отпущенных на электрификацию, написал, что их у него отняли банды капитана Копейкина. Словом, произвел чудеса.

И по Москве вскоре загудел слух, что Чичиков — триллионщик. Учреждения начали рвать его к себе нарасхват в спецы. Уже Чичиков снял за 5 миллиардов квартиру в пять комнат, уже Чичиков обедал и ужинал в «Ампире».

VI

Но вдруг произошел крах.

Погубил же Чичикова, как правильно предсказал Гоголь, Ноздрев, а прикончила Коробочка. Без всякого желания сделать ему пакость, а просто в пьяном виде, Ноздрев разболтал на бегах и про деревянные опилки, и о том, что Чичиков снял в аренду несуществующее предприятие, и все это заключил словами, что Чичиков жулик и что он бы его расстрелял.

Задумалась публика, и как искра побежала крылатая молва.

А тут еще дура Коробочка вперлась в учреждение расспрашивать, когда ей можно будет в Манеже булочную открыть. Тщетно уверяли ее, что Манеж казенное здание и что ни купить его, ни что-нибудь открывать в нем нельзя, — глупая баба ничего не понимала.

А слухи о Чичикове становились все хуже и хуже. Начали недоумевать, что такое за птица этот Чичиков и откуда он взялся. Появились сплетни, одна другой зловещее, одна другой чудовищней. Беспокойство вселилось в сердца. Зазвенели телефоны, начались совещания... Комиссия построения в комиссию наблюдения, комиссия наблюдения в жилотдел, жилотдел в Наркомздрав, Наркомздрав в Главкустпром, Главкустпром в Наркомпрос, Наркомпрос в Пролеткульт и т. д.

Кинулись к Ноздреву. Это, конечно, было глупо. Все знали, что Ноздрев лгун, что Ноздреву нельзя верить ни в одном слове. Но Ноздрева призвали, и он ответил по всем пунктам.

Объявил, что Чичиков действительно взял в аренду несуществующее предприятие и что он, Ноздрев, не видит причины, почему бы не взять, ежели все берут? На вопрос: уж не белогвардейский ли шпион Чичиков, ответил, что шпион и что его недавно хотели даже расстрелять, но почему-то не расстреляли. На вопрос: не делатель ли Чичиков фальшивых бумажек, ответил, что делатель, и даже рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова: как, узнавши, что правительство хочет выпускать новые знаки, Чичиков снял квартиру в Марьиной роще и выпустил оттуда фальшивых знаков на 18 миллиардов, и при этом на два дня раньше, чем вышли настоящие, а когда туда нагрянули и опеча-

тали квартиру, Чичиков в одну ночь перемешал фальшивые знаки с настоящими, так что потом сам черт не мог разобраться, какие знаки фальшивые, а какие настоящие. На вопрос: точно ли Чичиков обменял свои миллиарды на бриллианты, чтобы бежать за границу, Ноздрев ответил, что это правда и что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, а если бы не он, ничего бы и не вышло.

После рассказов Ноздрева полнейшее уныние овладело всеми. Видят, никакой возможности узнать, что такое Чичиков, нет. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не нашелся среди всей компании один. Правда, Гоголя он тоже, как и все, в руки не брал, но обладал маленькой дозой здравого смысла.

Он и воскликнул:

— А знаете, кто такой Чичиков?

И когда все хором грянули:

— Кто?!

Он произнес гробовым голосом:

— Мошенник.

VII

Тут только и осенило всех. Кинулись искать анкету. Нету. По входящему. Нету. В шкафу — нету. К регистраторше.

— Откуда я знаю? У Иван Григорьича.

К Иван Григорьичу:

— Где?

— Не мое дело. Спросите у секретаря, и т. д., и т. д.

И вдруг неожиданно в корзине для ненужных бумаг — она.

Стали читать — и обомлели.

Имя? Павел. Отчество? Иванович. Фамилия? Чичиков. Звание? Гоголевский персонаж. Чем занимался до революции? Скупкой мертвых душ. Отношение к воинской повинности? Ни то, ни се, ни черт знает что. К какой партии принадлежит? Сочувствующий (а кому — неизвестно). Был ли под судом? Волнистый зигзаг. Адрес? Поворотя во двор, в третьем этаже направо, спросить в справочном бюро штаб-офицершу Подточину, а та знает.

Собственноручная подпись? Обмакни!!

Прочитали и окаменели.

Крикнули инструктора Бобчинского:

— Катись на Тверской бульвар в арендуемое им предприятие и во двор, где его товары, может, там что откроется!

Возвращается Бобчинский. Глаза круглые.

— Чрезвычайное происшествие!

— Ну!

— Никакого предприятия там нету. Это он адрес памятника Пушкину указал. И запасы не его, а АРА.

Тут все взвыли:

— Святители угодники! Вот так гусь! А мы ему миллиарды!! Выходит, теперича ловить его надо!

И стали ловить.

VIII

Пальцем в кнопку ткнули.

— Кульера.

Отворилась дверь, и предстал Петрушка. Он от Чичикова уже давно отошел и поступил курьером в учреждение.

— Берите немедленно этот пакет и немедленно отправляйтесь.

Петрушка сказал:

— Слушаю-с.

Немедленно взял пакет, немедленно отправился и немедленно его потерял.

Позвонили Селифану в гараж:

— Машину. Срочно.

— Чичас.

Селифан встрепенулся, закрыл мотор теплыми штанами, натянул на себя куртку, вскочил на сиденье, засвистел, загудел и полетел.

Какой же русский не любит быстрой езды?!

Любил ее и Селифан, и поэтому при самом въезде на Лубянку пришлось ему выбирать между трамваем и зеркальным окном магазина. Селифан в течение одной терции времени избрал второе, от трамвая увернулся и как вихрь с воплем: «Спасите!» въехал в магазин через окно.

Тут даже у Тентетникова, который заведовал всеми Селифанами и Петрушками, лопнуло терпение:

— Уволить обоих, к свиньям!

Уволили. Послали на биржу труда. Оттуда командировали: на место Петрушки — плюшкинского Прошку, на место Селифана — Григория Доезжай-не-Доедешь. А дело тем временем кипело дальше!

— Авансовую ведомость!

— Извольте.

— Попросить сюда Неуважая-Корыто.

Оказалось, попросить невозможно. Неуважая месяца два тому вычистили из партии, а уже из Москвы он и сам вычистился сейчас же после этого, так как делать ему в ней было больше решительно нечего.

— Кувшинное Рыло?

— Уехал куда-то на куличку инструктировать губотдел.

Принялись тогда за Елизавета Воробья. Нет такого! Есть, правда, машинистка Елизавета, но не Воробей. Есть помощник заместителя младшего делопроизводителя замзавподотдел Воробей, но он не Елизавета!

Прицепились к машинистке:

— Вы?!

— Ничего подобного! Почему это я? Здесь Елизаветъ с твердым знаком, а разве я с твердым? Совсем наоборот...

И в слезы. Оставили в покое.

А тем временем, пока возились с Воробьем, правозаступник Самосвистов дал знать Чичикову стороной, что по делу началась возня, и, понятное дело, Чичикова и след простыл.

И напрасно гоняли машину по адресу: поворотя направо, никакого, конечно, справочного бюро не оказалось, а была там заброшенная и разрушенная столовая общественного питания. И вышла к приехавшим уборщица Фетинья и сказала, что никого нетути.

Рядом, правда, поворотя налево, нашли справочное бюро, но сидела там не штаб-офицерша, а какая-то Подстега Сидоровна и, само собой разумеется, не знала не только чичиковского адреса, но даже и своего собственного.

IX

Тогда напало на всех отчаяние. Дело запуталось до того, что и черт бы в нем никакого вкусу не отыскал. Несуществующая аренда перемешалась с опилками, брабантские кружева с электрификацией, Коробочкина покупка с бриллиантами. Влип в дело Ноздрев, оказались замешанными и сочувствующий Ротозей Емельян, и беспартийный Вор Антошка, открылась какая-то панама с пайками Собакевича. И пошла писать губерния!

Самосвистов работал не покладая рук и впутал в общую кашу и путешествия по сундукам, и дело о подложных счетах за разъезды (по одному ему оказалось замешано до 50000 лиц), и проч., и проч. Словом, началось черт знает что. И те, у кого миллиарды из-под носа выписали, и те, кто их должны были отыскать, метались в ужасе, и перед глазами был только один непреложный факт:

Миллиарды были и исчезли.

Наконец встал какой-то Дядя Митяй и сказал:

— Вот что, братцы... Видно, не миновать нам следственную комиссию назначить.

X

И вот тут (чего во сне не увидишь!) вынырнул, как некий бог на машине, я и сказал:

— Поручите мне.

Изумились:

— А вы... того... сумеете?

А я:

— Будьте покойны.

Поколебались. Потом — красным чернилом:

«Поручить».

Тут я и начал (в жизнь не видел приятнее сна!).

Полетели со всех сторон ко мне 35 тысяч мотоциклистов.

— Не угодно ли чего?

А я им:

— Ничего не угодно. Не отрывайтесь от ваших дел. Я сам справлюсь. Единолично.

Набрал воздуху и гаркнул так, что дрогнули стекла:

— Подать мне сюда Ляпкина-Тяпкина! Срочно! По телефону подать!

— Так что подать невозможно... Телефон сломался.

— А-а! Сломался! Провод оборвался? Так, чтоб он даром не мотался, повесить на нем того, кто докладывает!!

Батюшки! Что тут началось!

— Помилуйте-с... что вы-с... Сию... хе-хе... минутку... Эй! Мастеров! Проволоки! Сейчас починят!

В два счета починили и подали.

И я рванул дальше:

— Тяпкин? М-мерзавец! Ляпкин? Взять его, прохвоста! Подать мне списки! Что? Не готовы? Приготовить в пять минут, или вы сами очутитесь в списках покойников! Э-э-то кто?! Жена Манилова — регистраторша? В шею! Улинька Бетрищева — машинистка? В шею! Собакевич? Взять его! У вас служит негодяй Мурзофейкин? Шулер Утешительный? Взять!! И того, кто их назначил, — тоже. Схватить его! И его! И этого! И того! Фетинью вон! Поэта Тряпичкина, Селифана и Петрушку в учетное отделение! Ноздрева в подвал... В минуту! В секунду!! Кто подписал ведомость? Подать его, каналью!! Со дня моря достать!!

Гром пошел по пеклу...

— Вот черт налетел! И откуда такого достали?!

А я:

— Чичикова мне сюда!!

— Н... н... невозможно сыскать. Они скрымшись...

— Ах, скрымшись? Чудесно! Так вы сядете на его место.

— Помил...

— Молчать!!

— Сию минуточку... Сию... Повремените секундочку. Ищут-с.

И через два мгновения нашли!

И напрасно Чичиков валялся у меня в ногах и рвал на себе волосы и френч и уверял, что у него нетрудоспособная мать.

— Мать?! — гремел я, — мать?.. Где миллиарды? Где народные деньги?! Вор!! Взрезать его, мерзавца! У него бриллианты в животе!

Вскрыли его. Тут они.

— Все?

— Все-с.

— Камень на шею и в прорубь!

И стало тихо и чисто.
И я по телефону:
— Чисто.
А мне в ответ:
— Спасибо. Просите чего хотите.
Так я и взметнулся около телефона. И чуть было не выложил в трубку все сметные предположения, которые давно уже терзали меня:
«Брюки... фунт сахару... лампу в 25 свечей...»
Но вдруг вспомнил, что порядочный литератор должен быть бескорыстен, увял и пробормотал в трубку:
— Ничего, кроме сочинений Гоголя в переплете, каковые сочинения мной недавно проданы на толчке.
И... бац! У меня на столе золотообрезный Гоголь!
Обрадовался я Николаю Васильевичу, который не раз утешал меня в хмурые бессонные ночи, до того, что рявкнул:
— Ура!
И...

ЭПИЛОГ

... конечно, проснулся. И ничего: ни Чичикова, ни Ноздрева и, главное, ни Гоголя...
«Эх-хе-хе», — подумал я себе и стал одеваться, и вновь пошла передо мной по-будничному щеголять жизнь.

1922.

ПСАЛОМ

Первоначально кажется, что это крыса царапается в дверь. Но слышен очень вежливый человеческий голос:
— Мозно зайти?
— Можно, пожалуйте.
Поют дверные петли.
— Иди и садись на диван!
(От двери.) — А как я по паркету пойду?
— А ты тихонечко иди и не катайся. Ну-с, что новенького?
— Нициво.
— Позвольте, а кто сегодня утром ревел в коридоре?
(Тягостная пауза.) — Я ревел.
— Почему?
— Меня мама наслепала.

— За что?
(Напряженнейшая пауза.) — Я Сурке ухо укусил.
— Однако.
— Мама говорит, Сурка — негодяй. Он дразнит меня, копейки поотнимал.
— Все равно, таких декретов нет, чтоб из-за копеек уши людям кусать. Ты, выходит, глупый мальчик.
(Обида.) — Я с тобой не возусь.
— И не надо.
(Пауза.) — Папа приедет, я ему сказу. (Пауза.) Он тебя застрелит.
— Ах так. Ну, тогда я чай не буду делать. К чему? Раз меня застрелят...
— Нет, ты цай делай.
— А ты выпьешь со мной?
— С конфетами? Да?
— Непременно.
— Я выпью.
На корточках два человеческих тела — большое и маленькое. Музыкальным звоном кипит чайник, и конус жаркого света лежит на странице Джерома Джерома.
— Стихи-то ты, наверное, забыл?
— Нет, не забыл.
— Ну, читай.
— Ку... куплю я себе туфли...
— К фраку.
— К фраку, и буду петь по ноцам...
— Псалом.
— Псалом... И заведу... себе собаку...
— Ни...
— Ни-ци-во-о...
— Как-нибудь проживем.
— Нибудь как. Пра-зи-ве-ем.
— Вот именно. Чай закипит, выпьем. Проживем.
(Глубокий вздох.) — Пра-зи-ве-ем.
Звон. Джером. Пар. Конус. Лоснится паркет.
— Ты одинокий.
Джером падает на паркет. Страница угасает.
(Пауза.) — Это кто же тебе говорил?
(Безмятежная ясность.) — Мама.
— Когда?
— Тебе пуговицу когда присивала. Присивала. Присивает, присивает и говорит Натаске...
— Так-с. Погоди, погоди, не вертись, а то я тебя обварю... Ух!..
— Горяций, ух!
— Конфету какую хочешь, такую и бери.

— Вот я эту больсую хоцу.
— Подуй, подуй, и ногами не болтай.
(Женский голос за сценой.) — Славка!
Стучит дверь. Петли поют приятно.
— Опять он у вас. Славка, иди домой!
— Нет, нет, мы с ним чай пьем.
— Он же недавно пил.
(Тихая откровенность.) — Я... не пил.
— Вера Ивановна. Идите чай пить.
— Спасибо, я недавно...
— Идите, идите, я вас не пущу...
— Руки мокрые... Белье я вешаю...
(Непрошеный заступник.) — Не смей мою маму тянуть.
— Ну, хорошо, не буду тянуть... Вера Ивановна, садитесь...
— Погодите, я белье повешу, тогда приду.
— Великолепно. Я не буду тушить керосинку.
— А ты, Славка, выпьешь, иди к себе. Спать. Он вам мешает.
— Я не месаю. Я не салю.

Петли поют неприятно. Конусы в разные стороны. Чайник безмолвен.

— Ты уже спать хочешь?

— Нет, я не хоцу. Ты мне сказку расскажи.

— А у тебя уже глаза маленькие.

— Нет. Не маленькие. Расскажи.

— Ну, иди сюда, ко мне. Голову клади. Так. Сказку? Какую же тебе сказку рассказать? А?

— Про мальчика, про того...

— Про мальчика? Это, брат, трудная сказка. Ну, для тебя, так и быть... Ну-с, так вот, жил, стало быть, на свете мальчик. Да-с. Маленький, лет так приблизительно четырех. В Москве. С мамой. И звали этого мальчика Славка.

— Как меня?

— ...Довольно красивый, но был он, к величайшему сожалению, драчун. И дрался он чем ни попало — кулаками, и ногами, и даже калошами. А однажды по лестнице девочку из 8-го номера, славная такая девочка, тихая, красавица, а он ее по морде книжкой ударил.

— Она сама дерется...

— Погоди. Это не о тебе речь идет.

— Другой Славка?

— Совершенно другой. На чем бишь я остановился? Да... Ну, натурально, пороли этого Славку каждый день, потому что нельзя же, в самом деле, драки позволять. А Славка все-таки не унимался. И дошло дело до того, что в один прекрасный день Славка поссорился с Шуркой, тоже мальчик такой был, и, недолго думая, хвать его зубами за ухо, и пол-уха как не бывало. Гвалт тут поднялся. Шурка орет, Славку по-

рют, он тоже орет... Кой-как приклеили Шуркино ухо синдетиконом. Славку, конечно, в угол поставили... И вдруг — звонок. И является совершенно неизвестный господин с огромной рыжей бородой и в синих очках и спрашивает басом: «А позвольте узнать, кто здесь будет Славка?» Славка отвечает: «Это я Славка».— «Ну, вот что,— говорит,— Славка, я — надзиратель над всеми драчунами, и придется мне тебя, уважаемый Славка, удалить из Москвы. В Туркестан». Видит Славка, дело плохо, и чистосердечно раскаялся. «Признаюсь,— говорит,— что дрался, я и на лестнице играл в копейки, а маме бессовестно наврал, сказал, что не играл... Но больше этого не будет, потому что я начинаю новую жизнь».— «Ну,— говорит надзиратель,— это — другое дело. Тогда тебе следует награда за чистосердечное твое раскаяние». И немедленно повел Славку в наградной раздаточный склад. И видит Славка, что там видимо-невидимо разных вещей. Тут и воздушные шары, и автомобили, и аэропланы, и полосатые мячики, и велосипеды, и барабаны. И говорит надзиратель: «Выбирай, чего твоя душа хочет». А вот что Славка выбрал, я и забыл...

(Сладкий, сонный бас.) — Велосипет?

— Да, да, вспомнил — велосипед. И сел немедленно Славка на велосипед, и покатил прямо на Кузнецкий мост. Катит и в рожок трубит, а публика стоит на тротуаре, удивляется: «Ну и замечательный же человек этот Славка. И как он под автомобиль не попадет?» А Славка сигналы дает и кричит извозчикам: «Право держи!» Извозчики летят, машины летят, Славка нажаривает, и идут солдаты и марш играют, так что в ушах звенит...

— Уже?..

Петли поют. Коридор. Дверь. Белые руки, обнаженные по локоть.

— Боже мой. Давайте, я его раздену.

— Приходите же. Я жду.

— Поздно...

— Нет, нет... И слышать не хочу...

— Ну, хорошо.

Конусы света. Начинает звенеть. Выше фитили. Джером не нужен — лежит на полу. В слюдяном окне керосинки маленький, радостный ад. Буду петь по ночам псалом. Как-нибудь проживем. Да, я одинокий. Псалом печален. Я не умею жить. Мучительнее всего в жизни — пуговицы. Они отваливаются, как будто отгнивают. Отлетела на жилете вчера одна. Сегодня одна на пиджаке и одна на брюках сзади. Я не умею жить с пуговицами, но я все вижу и все понимаю. Он не приедет. Он меня не застрелит. Она говорила тогда в коридоре Наташке: «Скоро вернется муж, и мы уедем в Петербург». Ничего он не вернется. Он не вернется, поверьте мне. Семь месяцев его нет, и три раза я видел случайно, как она плачет. Слезы, знаете ли, не скроешь. Но только он очень много потерял от того, что бросил эти белые, теплые руки. Это его дело, но я не понимаю, как же он мог Славку забыть...

Как радостно спели петли...

Конусов нет. В слюдяном окошке черная мгла. Давно замолк чайник.

Свет лампы тысячью маленьких звуков глядит сквозь реденький сатинет.

— Пальцы у вас замечательные. Вам бы пианисткой быть.

— Вот поеду в Петербург, опять буду играть...

— Вы не поедете в Петербург. У Славки на шее такие же завитки, как и у вас. А у меня тоска, знаете ли. Скучно так, чрезвычайно как-то. Жить невозможно. Кругом пуговицы, пуговицы, пуго...

— Не целуйте меня... Не целуйте... Мне нужно уходить... Поздно...

— Вы не уйдете. Вы там начнете плакать. У вас есть эта привычка.

— Неправда. Я не плачу. Кто вам сказал?

— Я сам знаю. Я сам вижу. Вы будете плакать, а у меня тоска... тоска...

— Что я делаю... Что вы делаете...

Конусов нет. Не светит лампа сквозь реденький сатинет. Мгла. Мгла.

Пуговиц нет. Я куплю Славке велосипед. Не куплю себе туфли к фраку, не буду петь по ночам псалом. Ничего, как-нибудь проживем.

1923.

МУЗА МЕСТИ

(Маленький этюд)

Украшают тебя добродетели,
До которых тебе далеко,
И беру небеса во свидетели,
Уважаю тебя глубоко...

Так язвительно засмеялся поэт над безликим представителем того класса, который вместо добродетели на самом деле был украшен лишь фуражкой с красным околышем.

Застыла на его лице язвительная усмешка и не сходила с него, и скорбные уста роняли жгучие слова гнева.

Смеялся и негодовал над теми, кто его породил самого, и чувствовал умом подлинного провидца неизбежную гнилую гибель тех, из среды которых вышел он сам.

Но полная гнева душа его все же имела два лика.

Лик гнева и лик скорбной любви или жалости.

Ибо любить тех, кого он любил, значило жалеть.

Лик любви обратил туда, где, утопая осенью в грязи, зимою мучаясь в вертящих метелях, жили люди из

Заплатова, Дырявина,
Разутова, Знобишина,
Горелова, Неелова,
Неурожайки тож,

и для них у него нашлись другие слова.

В них не было гнева.

Когда в творческой муке подходил к своему кресту (ибо тот, кто творит, не живет без креста), на нем безжалостно распинал изменившую своему классу дворянскую музу во имя жителей

Заплатова, Дырявина,
Неурожайки тож.

За поэтом, как бы он ни был гениален, всегда, как тень, вставал его класс.

Из каждой строки гениального Пушкина он, класс, глядит, лукаво подмигивая.

Утонченность великая, утонченность барская. Гениальный дворянин.

Раба Пушкин жалел, ведь не мог же полубожественный гений не видеть

барства дикого.

Но духом гений, а телом барин, лишь чуть коснулся волшебным перстом тех, кто от барства дикого стонал непрерывным стоном.

Воскликнул:

Увижу ль я, друзья,
Народ неугнетенный?

И ушел от раба, замкнулся в недосягаемые горние духа, куда завел его властный гений.

Класс порождал поэтов, класс лелеял их, класс питал их идеи. Дворянский класс породил утонченную поэзию. Ее красоты рождались в старых гнездах, там, где белые колонны говорили о золотых снах прошлого.

И для того, чтобы среди белых колонн могли жить золотой жизнью немногие, многие миллионы шли под ярмом по изрезанной полосами тощей земле. Тонкой корой — налетом покрывал дворянский мир другой великий мир — крестьянский.

Этот мир своего певца не имел.

Как запоешь, если ты «идол без голосу»!

И вот случилось нечто чудесное: из другого лагеря пришел певец. Изменил своим, возненавидел, стал презирать и гневным ядом напоил строфы о тех, кого украшали добродетели внутри и венгерки со шнурами снаружи. Нарисовал тех, что держат в руках земные громы, и тех, что, корчась в холопском недуге, вьются у ног громовержца.

Но не может жить великий талант одним гневом. Неутоленной будет его душа. Нужна любовь. Как свет и тени. Он и свою любовь отдал великому миру крестьянскому и рассказал, как

...Плачут дети малые,
Тоскуют жены, матери...

Своим, от которых ушел, мстил, а этих жалел.

Тем — муза мести, этим — печали.

Потому что только печали были достойны они —

Осокою изрезанны
Болотным гадом-мошкою
Искусанные в кровь...

А раз полюбил, то уж настолько слиясь с ними, что и страдал и укорял за унижения.

Куда уж нам бахвалиться.
Недаром вахлаки.

И так до конца дней, печалясь и негодуя, дошел до могилы певец неласковой и нелюбимой музы.

Но прошло несколько десятилетий, и вдруг в наши дни случилось чудо. За эти десятки лет в Заплатовых, Дырявиных скопилось столько гнева, что не вместила его больше исполинская чаша. Порвалась цепь великая, но уже не один, а оба конца ее очутились в железных корявых руках и ударили по барину и еще раз по барину.

Все на свете имеет конец. Наступает он и для хорошей жизни. А жил хорошо барин. И даром ходили по Руси Роман, Демьян и Губины, зорко высматривая счастливца, которому жить хорошо. И искать не к чему было. Он был под носом у Губиных, тут же, в доме с белыми колоннами, окруженном английским парком.

Барин жил хорошо, воистину хорошо.

Разве не памятны времена еще Онегина?

А уж брегета звон доносит,
Что новый начался балет...

Так в течение многих десятков лет в урочное время звенел золотой брегет, призывая от одного наслаждения к другому.

И так тянулось до наших дней.

Но однажды он прозвенел негаданно тревожным погребальным звоном и подал сигнал к началу невиданного балета.

От зрелища его поднялись фуражки с красными околышами на дыбом вставших волосах. И многие, очень многие лишились навеки околыша, а подчас и вместе с головой. Ибо страшен был хлынувший поток гнева рати-орды крестьянской.

Певец знал об этом гневе. Знал, что он таится где-то в глубине и что нет краю и дна морю крестьянского гнева.

У каждого крестьянина
Душа, что туча черная.
Гневна, грозна, и надо бы
Громам греметь оттудова,
Кровавым лить дождям.

Но тогда, когда он жил, сколько раз расходился гнев народный в улыбку. А в наши дни не разошелся. И были грозные, кровавые дожди. Произошли великие потрясения, пошла раскачка всей земли. Те, что сохранили красные околыши, успев ускользнуть из-под самого обуха на чердаки-мансарды заграниц, сидели съежась и глядя в небо, по которому гуляли отсветы кровавых зарниц, потрясенные шептали:

— Ишь, как запалили, черти сиволапые.— И трусливо думали: — «Не перекинулось бы и сюда...»

Некрасов спит теперь в могиле. Но если бы свершилось еще одно чудо и тень поэта встала бы из гроба, чтоб посмотреть, как, бросая в бескрайнюю вышину гигантские снопы пламени, горят, сжигая мир старой жизни, великие Революционные костры, он подивился бы своей рати-орде исполинской, которую когда-то знал униженной и воспевал, и сказал бы:

— Я знал это. У них был гнев. Я пел про него.

И пройдут еще года. Вместо буйных огней по небу разольется ровный свет. Выделанная из стали неузнаваемая рать-орда крестьянская завладеет землей.

И, наверно, тогда в ней найдутся такие, что станут рыться в воспоминаниях победителей мира и отыщут кованые строфы Некрасова и, вспоминая о своих униженных дедах, скажут:

— Он был наш певец. Нашим угнетателем, от которых был сам порожден, своими строфами мстил, о нас печалился.

Ибо муза его была — муза мести и печали.

1921.

ВОСПАЛЕНИЕ МОЗГОВ

Посвящается всем редакторам
еженедельных журналов

В правом кармане брюк лежали 9 копеек — два трехкопеечника, две копейки и копейка, и при каждом шаге они бренчали, как шпоры. Прохожие косились на карман.

Кажется, у меня начинают плавиться мозги. Действительно, асфальт же плавится при жаркой температуре! Почему не могут желтые мозги? Впрочем, они в костяном ящике и прикрыты волосами и фуражкой с белым верхом. Лежат внутри красивые полушария с извилинами и молчат.

А копейки — брень-брень.

У самого кафе бывшего Филиппова я прочитал надпись на белой полоске бумаги: «Щи суточные, севрюжка паровая, обед из 2-х блюд — 1 рубль».

Вынул девять копеек и выбросил их в канаву. К девяти копейкам подошел человек в истасканной морской фуражке, в разных штанинах и только в одном сапоге, отдал деньгам честь и прокричал:

— Спасибо от адмирала морских сил. Ура!

Затем он подобрал медяки и запел громким и тонким голосом:

Ата-цвели уж давно-о!
Хэ-ри-зан-темы в саду-у!..

Прохожие шли мимо струей, молча сопя, как будто так и нужно, чтобы в 4 часа дня, на жаре, на Тверской, адмирал в одном сапоге пел.

Тут за мной пошли многие и говорили со мной:

— Гуманный иностранец, пожалуйте и мне 9 копеек. Он шарлатан, никогда даже на морской службе не служил.

— Профессор, окажите любезность...

А мальчишка, похожий на Черномора, но только с отрезанной бородой, прыгал передо мною на аршин над панелью и торопливо рассказывал хриплым голосом:

У Калуцкой заставы
Жил разбойник и вор — Комаров!

Я закрыл глаза, чтобы его не видеть, и стал говорить:

«Предположим, так. Начало: жара, и я иду, и вот мальчишка. Прыгает. Беспризорный. И вдруг выходит из-за угла заведующий детдомом. Светлая личность. Описать его. Ну, предположим, такой: молодой, голубые глаза. Бритый? Ну, скажем, бритый. Или с маленькой бородкой. Баритон. И говорит: «Мальчик, мальчик». А что дальше? Мальчик, мальчик, ах, мальчик, мальчик...».

«И в фартуке»,— вдруг сказали тяжелые мозги под фуражкой. «Кто в фартуке?» — спросил я у мозгов удивленно. «Да этот, твой детдом».

«Дураки»,— ответил я мозгам.

«Ты сам дурак. Бесталанный,— ответили мне мозги;— посмотрим, что ты будешь жрать сегодня, если ты сей же час не сочинишь рассказ. Графоман!»

«Не в фартуке, а в халате...»

«Почему он в халате, ответь, кретин?» — спросили мозги.

«Ну, предположим, что он только что работал: например — делал перевязку ноги больной девочке, и вышел купить папирос «Трест». Тут же можно описать моссельпромщицу. И вот он говорит: «Мальчик, мальчик...» А сказавши это (я потом присочиню, что он сказал), берет мальчика за руку и ведет в детдом. И вот Петька (мальчика Петькой назовем, такие замерзающие на жаре мальчики всегда Петьки бывают) уже в детдоме, уже не рассказывает про Комарова, а читает букварь. Щеки у него толстые и назвать рассказ: «Петька спасен». В журналах любят такие заглавия».

«Па-аршивенький рассказ,— весело бухнуло под фуражкой,— и тем более что мы где-то уже это читали!»

«Молчать, я погибаю!» — приказал я мозгам и открыл глаза.

Передо мною не было адмирала и Черномора и не было моих часов в кармане брюк.

Я пересек улицу и подошел к милиционеру, высоко поднявшему жезл.

— У меня часы украли сейчас,— сказал я.

— Кто? — спросил он.

— Не знаю,— ответил я.

— Ну, тогда пропали,— сказал милиционер.

От таких его слов мне захотелось сельтерской воды.

— Сколько стоит один стакан сельтерской? — спросил я в будочке у женщины.

— 10 копеек,— ответила она.

Спросил я ее нарочно, чтобы знать, жалеть ли мне выброшенные 9 копеек. И развеселился и немного оживился при мысли, что жалеть не следует.

«Предположим — милиционер. И вот подходит к нему гражданин...»

«Нуте-с?» — осведомились мозги.

«Н-да, и говорит: часы у меня свистнули. А милиционер выхватыва-

ет револьвер и кричит: «Стой!!. Ты украл, подлец». Свистит. Все бегут. Ловят вора-рецидивиста. Кто-то падает. Стрельба».

«Все?» — спросили желтые толстяки, распухшие от жары в голове.

«Все».

«Замечательно, прямо-таки гениально,— рассмеялась голова и стала стучать, как часы,— но только этот рассказ не примут, потому что в нем нет идеологии. Все это, т. е. кричать, выхватывать револьвер, свистеть и бежать, мог и старорежимный городовой. Нес-па?*, товарищ Бенвенутто Челлини».

Дело в том, что мой псевдоним — Бенвенутто Челлини. Я придумал его пять дней тому назад в такую же жару. И он страшно понравился почему-то всем кассирам в редакции. Все они пометили: «Бенвенутто Челлини» в книгах авансов рядом с моей фамилией. 5 червонцев, например, за Б. Челлини.

«Или так: извозчик № 2579. И седок забыл портфель с важными бумагами из Сахаротреста. И честный извозчик доставил портфель в Сахаротрест, и сахарная промышленность поднялась, а сознательного извозчика наградили».

«Мы этого извозчика помним,— сказали, остервенясь, воспаленные мозги,— еще по приложениям к марксовской «Ниве». Раз пять мы его там встречали, набранного то петитом, то корпусом, только седок служил тогда не в Сахаротресте, а в Министерстве внутренних дел. Умолкни! Вот и редакция. Посмотрим, что ты будешь говорить. Где рассказик?..»

По шаткой лестнице я вошел в редакцию с развязным видом и громко напевая:

И за Сеню я!
За кирпичики
Полюбила кирпичный завод.

В редакции, зеленея от жары, в тесной комнате сидел заведующий редакцией, сам редактор, секретарь и еще двое праздношатающихся. В деревянном окне, как в зоологическом саду, торчал птичий нос кассира.

— Кирпичики кирпичиками,— сказал заведующий,— а вот где обещанный рассказ?

— Представьте, какой гротеск,— сказал я, улыбаясь весело,— у меня сейчас часы украли на улице.

Все промолчали.

— Вы мне обещали сегодня дать денег,— сказал я и вдруг в зеркале увидал, что я похож на пса под трамваем.

— Нету денег,— сухо ответил заведующий, и по лицам я увидал, что деньги есть.

---

* Не так ли? *(фр.)*

— У меня есть план рассказа. Вот чудак вы,— заговорил я тенором,— я в понедельник его принесу к половине второго.

— Какой план рассказа?

— Хм... В одном доме жил священник...

Все заинтересовались. Праздношатающиеся подняли головы.

— Ну?

— И умер.

— Юмористический?—спросил редактор, сдвигая брови.

— Юмористический,— ответил я, утопая.

— У нас уже есть юмористка. На три номера. Сидоров написал,— сказал редактор.—Дайте что-нибудь авантюрное.

— Есть,— ответил я быстро,— есть, есть, как же!

— Расскажите план,— сказал, смягчаясь, заведующий.

— Кхе... Один нэпман поехал в Крым...

— Дальше-с!

Я нажал на больные мозги так, что из них закапал сок, и вымолвил:

— Ну, и у него украли бандиты чемодан.

— На сколько строк это?

— Строк на триста. А впрочем можно и... меньше. Или больше.

— Напишите расписку на 20 рублей, Бенвенутто,— сказал заведующий,— но только принесите рассказ, я вас серьезно прошу.

Я сел писать расписку с наслаждением. Но мозги никакого участия ни в чем не принимали. Теперь они были маленькие, съежившиеся, покрытые вместо извилин черными запекшимися щелями. Умерли.

Кассир было запротестовал. Я слышал его резкий скворешный голос:

— Не дам я вашему Чинизелли ничего. Он и так перебрал уже 60 целковых.

— Дайте, дайте,— приказал заведующий.

И кассир с ненавистью выдал мне один хрустящий и блестящий червонец, а другой темный, с трещиной посередине.

Через 10 минут я сидел под пальмами в тени Филиппова, укрывшись от взоров света. Передо мною поставили толстую кружку пива.

«Сделаем опыт,— говорил я кружке,— если они не оживут после пива,— значит, конец. Они померли, мои мозги, вследствие писания рассказов и больше не проснутся. Если так, я проем 20 рублей и умру. Посмотрим, как они с меня, покойничка, получат обратно аванс».

Эта мысль меня насмешила, я сделал глоток. Потом другой. При третьем глотке живая сила вдруг закопошилась в висках, жилы набухли, и съежившиеся желтки расправились в костяном ящике.

«Живы?» — спросил я.

«Живы»,— ответили они шопотом.

«Ну, теперь сочиняйте рассказ!»

В это время подошел ко мне хромой с перочинными ножиками. Я купил один за полтора рубля. Потом пришел глухонемой и продал

мне две открытки в желтом конверте с надписью: «Граждане, помогите глухонемому».

На одной открытке стояла елка в ватном снегу, а на другой был заяц с аэропланными ушами, посыпанный бисером. Я любовался зайцем в жилах моих бежала пенистая пивная кровь. В окнах сияла жара, плавился асфальт. Глухонемой стоял у подъезда кафе и раздраженно говорил хромому:

— Катись отсюда колбасой со своими ножиками. Какое ты имеешь право в моем Филиппове торговать? Уходи в «Эльдорадо»!

«Предположим, так,— начал я, пламенея.— Улица гремела, со свистом соловьиным прошла мотоциклетка. Желтый переплетенный гроб с зеркальными стеклами (автобус)!..»

«Здорово пошло дело,— заметили выздоровевшие мозги,— спрашивай еще пиво, чини карандаш, сыпь дальше... Вдохновенье, вдохновенье».

Через несколько мгновений вдохновение хлынуло с эстрады под военный марш Шуберта — Таузига, под хлопанье тарелок, под звон серебра.

Я писал рассказ в «Иллюстрацию», мозги пели под военный марш:

Что, сеньор мой,
Вдохновенье мне дано?
Как ваше мнение?!

Жара! Жара!

1925

ДНЕВНИК Н. Н. ЛЯМИНА*

22 [мая 1925 года], суббота.

[Запись рукой Л. Е. Белозерской:]

Сегодня удрал с этой чертовой службы в 3 часа — мигрень. До чего же надоела библиотека: книги, книги, книги. Мертвое дело. Сидя за большим столом, мечтал о той минуте, когда за мной хлопнет дверь. По натуре я писатель, или нет,— издатель. Для этого романа, к сожалению, нужны деньги. Если на первое время сделать так: Миша Булгаков напишет, Боб нарисует иллюстрации (тушью у него выходит удачно), я издам, а Л. Е. поможет по распространению.

* Шуточные записи от имени филолога Н. Н. Лямина, сделанные и самим Булгаковым и под диктовку его женой Л. Е. Белозерской и супругами-мхатовцами Е. Д. Понсовой и В. Я. Станицыным. Расшифровку записавших в «Дневник» произвела Н. А. Лямина-Ушакова, вдова Н. Н. Лямина.

Мой Шюзвиль ни с места. Хотя в мозгу весь готов.

Вчера Боб впустил ко мне приятеля. Сидел, сидел,— сидел, сидел. А всё она,— надо было его гнать. Это можно всегда сделать вежливо и незаметно...

31 октября 1926 года.

[Запись рукой Л. Е. Белозерской:]

Перерыв в полтора года...

...Опять гости. Съели всю баранину, черт бы их побрал! Но в хорошем обществе принято не возмущаться... Много нового: Мика написал две пьесы: одна идет хорошо, хорошо играют, а вторая — «monrais tora».

[Запись рукой В. Я. Станицына:]

Грозится написать третью! Придется опять таскаться на генеральные репетиции! Буду надеятся, что после этих будущих генеральных не напросятся на обед...

[Запись рукой Л. Е. Белозерской:]

А «героине» — Зойке нос накрасили. Зачем? Она гораздо лучше без носа. Я в крайне раздраженном состоянии. Мне следовало бы влюбиться, но вот что Боб скажет?

[Запись рукой В. Я. Станицына:]

Ну, все равно сам себе признаюсь:

— Тумская очаровательна!

Не знаю, что делать? Кроме постоянного лицезрения, приходится выслушивать постоянные разговоры об этих ужасных пьесах, которые так хлестко (дай бог ему здоровья) — обласкал Блюм.

[Запись рукой Л. Е. Белозерской:]

Попутно занозил себе пятку: занозу тащил я сам, и Боб, и бог.

У меня есть чудный друг: Петя Попов, он мой старый знакомый и философ, служит у нас в РКИ и пишет разную галиматью (Микину биографию, например).

[Запись рукой В. Я: Станицына:]

Уже дошел до самых корней его происхождения! [Зачеркнутый текст]. Зачеркнул написанное — мое внутреннее РКИ не пропускает.

[Запись рукой М. А. Булгакова:]

Рассказывал опять про тетку Данцига. Опять не поверили, подлецы! А между тем, тетка действительно померла.

И сидел Станицын (несимпатичный) и немедленно рассказал, что его тетка умерла от укуса бешеной канарейки!! (Тоже, наверное, соврал!).

[Запись рукой В. Я. Станицына:]

Выяснилось, что Булгаков ничего писать не может. Пишет весьма самоуверенные надписи на своих портретах, как например, на карточке, подаренной моей жене. Теперь понятно, почему он отвергает такой изумительный сюжет, как «тетка Данцига». Заболел бедный?! «Mania magnifica»*!! Даст Бог — поправится.

24 апреля [1928 года].

[Запись рукой Е. Д. Понсовой:]

Почти год ничего не записывал! Опять были Станицыны. Пришлось-таки пригласить!! Неловко, был все-таки на свадьбе! Должен был быть Булгаков, не пришел, подлец! Должно быть, запил! Признавался в любви жене Станицына, конечно, не искренне, а по долгу хозяина дома. Кажется, не поверила. Наплевать! Кстати из моих афоризмов:

— Смердяков был худым, а Демьян Бедный — толстый! Ха! Ха! Ха!

[Запись рукой В. Я. Станицына:]

Долго смотрел на Шапошникова, не завести ли мне монокль? Все-таки импозантно!

[Запись рукой М. А. Булгакова:]

Женщины вешаются мне на шею и кричат: «На Разгуляй! На Разгуляй!» Ну я и вожу!!

---

* мания величия *(лат.)*.

[Запись рукой Л. Е. Белозерской:]

Сам себя презираю! Впился в губы жене Станицына. Откуда во мне столько сладострастия? Разве что по Дарвину!

13 августа 1928 года.

[Запись рукой Е. Д. Понсовой:]

Опять были Станицыны и Булгакова, сам Булгаков в Ленинграде. Зачем его туда черт носит — никому неизвестно! В его отсутствие впился в губы его жены. Опять сладострастие! Боже мой! Куда мы идем!?

Лечиться мне или не лечиться? — вот в чем вопрос!! А, по-моему, во мне есть что-то гамлетовское!! Сейчас соврал насчет флейты, будто бы видал ее только на расстоянии 3-х верст. Поймали! Но неловкости не ощущал. [.............]

1925—1928.

Публикация Б. С. Мягкова

БЫЛ МАЙ

Был май. Прекрасный месяц май. Я шел по переулку, по тому самому, где помещается театр. Это был отличный, гладкий, любимый переулок, по которому непрерывно проезжали машины. Проезжая, они хлопали металлической крышкой, вделанной в асфальт. «Может быть, это канализационная крышка, а может быть, крышка водопроводная»,— размышлял я. Эти машины отчаянно кричали разными голосами, и каждый раз, как они кричали, сердце падало и подгибались ноги.

«Вот когда-нибудь крикнет так машина, а я возьму и умру»,— думал я, тыча концом палки в тротуар и боясь смерти.

«Надо ускорить шаг, свернуть во двор, пройти вовнутрь театра. Там уже не страшны машины, и весьма возможно, что я не умру».

Но свернуть во двор мне не удалось. Я увидел его. Он стоял, прислонившись к стене театра и заложив ногу на ногу. Ноги эти были обуты в кроваво-рыжие туфли на пухлой подошве, над туфлями были толстые шерстяные чулки, а над чулками — шоколадного цвета пузырями штаны до колен. На нем не было пиджака. Вместо пиджака на нем была странная куртка, сделанная из замши, из которой некогда делали мужские кошельки. На груди — металлическая дорожка с пряжечкой, а на голове — женский берет с коротким хвостиком.

Это был молодой человек ослепительной красоты с длинными ресницами, бодрыми глазами. Перед ним стояли пять человек актеров, одна актриса и один режиссер. Они преграждали путь в ворота.

Я снял шляпу и низко поклонился молодому человеку. Он приветствовал меня странным образом. Именно — сцепил ладони обеих рук, поднял их кверху и как бы зазвонил в невидимый колокол. Он посмотрел на меня пронзительно, лихо улыбаясь необыкновенной красоты глазами. Я смутился и уронил палку.

— Как поживаете? — спросил меня молодой человек.

Я поживал хорошо, мешали мне только машины своим адским криком, я что-то мямлил и криво надел шляпу.

Тут на меня обратилось всеобщее внимание.

— А вы как поживаете? — спросил я, причем мне показалось, что у меня распух язык.

— Хорошо! — ответил молодой человек.

— Он только что приехал из-за границы, — тихо сказал мне режиссер.

— Я читал вашу пьесу,— заговорил молодой человек сурово.

«Надо было мне другим ходом, через двор, в театр пойти»,— подумал я тоскливо.

— Читал,— повторил молодой человек звучно.

— И как же вы нашли, Полиевкт Эдуардович? — спросил режиссер, не спуская глаз с молодого человека.

— Хорошо,— отрывисто сказал Полиевкт Эдуардович,— хорошо. Третий акт надо переделать. Вторую картину из третьего акта надо выбросить, а первую перенести в четвертый акт. Тогда уж будет совсем хорошо.

— Пойдите-ка домой, да и перенесите,— шепнул мне режиссер и беспокойно подмигнул.

— Ну-с, продолжаю,— заговорил Полиевкт Эдуардович.— И вот они врываются и арестовывают Ганса.

— Очень хорошо! Очень хорошо! — заметил режиссер. — Его надо арестовать, Ганса. Только не находите ли вы, что его лучше арестовать в предыдущей картине?

— Вздор! — ответил молодой человек.— Именно здесь его надо арестовать, и нигде больше.

«Это заграничный рассказ,— подумал я.— Но только за что он так на Ганса озверел? Я хочу слушать заграничные рассказы, умру я или не умру».

Я потянулся к молодому человеку, стараясь не проронить ни слова. Душа моя раскисла, потом что-то дрогнуло в груди. Мне захотелось услышать про раскаленную Испанию. И чтоб сейчас заиграли на гитарах. Но ничего этого я не услышал. Молодой человек, терзая меня, продолжал рассказывать про несчастного Ганса. Мало того, что его арестовали, его еще и избили в участке. Но и этого мало — его посадили в тюрьму. Мало и этого — бедная старуха, мать этого Ганса, была выгнана с квартиры и ночевала на бульваре под дождем.

«Господи, какие мрачные вещи он рассказывает! И где он, на горе мое, встретился с этим Гансом за границей? И пройти в ворота нельзя,

пока он не кончит про Ганса, потому что это невежливо, на самом интересном месте...»

Чем дальше в лес, тем больше дров. Ганса приговорили к каторжным работам, а мать его простудилась на бульваре и умерла. Мне хотелось нарзану, сердце замирало и падало, машины хлопали и рявкали. Выяснилось, что на самом деле никакого Ганса не было и молодой человек его не встречал, а просто он рассказывал третий акт своей пьесы. В четвертом акте мать перед смертью произнесла проклятие палачам, погубившим Ганса, и умерла. Мне показалось, что померкло солнце, я почувствовал себя несчастным.

Рядом оборванный человек играл на скрипке мазурку Венявского. Перед ним на тротуаре, в картузе, лежали медные пятаки. Несколько поодаль другой торговал жестяными мышами, и жестяные мыши на резинках проворно бегали по досточке.

— Вещь замечательная! — сказал режиссер.— Ждем, ждем, ждем с нетерпением!

Тут дешевая маленькая машина подкатила к воротам и остановилась.

— Ну, мне пора,— сказал молодой человек.— Товарищ Ермолай, к Герцену.

Необыкновенно мрачный Ермолай за стеклами задергал какими-то рычагами. Молодой человек покачал колокол, скрылся в каретке и беззвучно улетел. Немедленно перед его лицом вспыхнул зеленый глаз и пропустил каретку Ермолая. И молодой человек въехал прямо в солнце и исчез.

И я снял шляпу, и поклонился ему вслед, и купил жестяную мышь для мальчика, и спасся от машин, войдя во дворе в маленькую дверь, и там опять увидел режиссера, и он сказал мне:

— Ох, слушайте его. Вы слушайте его. Вы переделайте третью картину. Она — нехорошая картина. Большие недоразумения могут получиться из-за этой картины. Бог с ней, с третьей картиной!

И исчез май. И потом был июнь, июль. А потом наступила осень. И все дожди поливали этот переулок, и, беспокоя сердце своим гулом, поворачивался круг на сцене, и ежедневно я умирал, и потом опять настал май.

1934.

КОММЕНТАРИИ

Представленный вниманию читателей сборник автобиографической прозы М. А. Булгакова тематически продолжает традицию книжек писателя, изданных в серии «Библиотека «Огонек» за последние годы. На этот раз сделана попытка собрать под одной обложкой лучшие, по нашему мнению, образцы известной или малоизвестной «малой прозы» Булгакова, где почти в каждом из произведений в той или иной форме выражено отчетливое авторское кредо, хотя в отдельных случаях и зашифрованное шуткой или гротеском. От трагической «Красной короны», беспокойно-ироничной «Богемы», лирического «Псалома» тянется живая нить к фантасмагории «Похождений Чичикова», оптимистическим наблюдениям «Сорока сороков», к сатирическому наброску «Был май». А строгость литературного этюда «Муза мести» вполне компенсируется интимной раскованностью в «Дневнике Н. Н. Лямина»...

«Красная корона» продолжает тему вины, обозначенной в памфлете «Грядущие перспективы», как вины общенациональной — участия в убийстве соотечественников в опустошительной гражданской войне. Совпадение имени героя (Коли) с именем брата писателя — Н. А. Булгакова, воевавшего в рядах Добровольческой армии, подчеркивает автобиографический характер произведения. Рассказ был впервые опубликован в «Литературном приложении» к газете «Накануне» за 22 октября 1922 года.

Рассказ **«Богема»** сюжетно близок «владикавказским» главам «Записок на манжетах», биографически повествует об истории создания и постановки пьесы «Сыновья муллы» с последующими событиями в жизни автора. Впервые — в журнале «Красная нива», 1925, № 1. В своем дневнике Булгаков отмечал, что этот рассказ ему «очень нравится» и «написан... совершенно на «ять»...

«Сорок сороков» — один из итоговых московских очерков-фельетонов Булгакова, обобщающих впечатления первых лет его столичной жизни. Впервые — в газете «Накануне» за 15 апреля 1923 года.

Фельетон-обозрение **«Похождения Чичикова»** — это фантастическое переложение образов и характеров гоголевских персонажей в некое действие на фоне нового московского «самоцветного быта». Впервые — в «Литературном приложении» к газете «Накануне» за 24 сентября 1922 года. Булгаков неоднократно выступал с публичным чтением этого фельетона, возродившего свою злободневность в наши дни.

Лирическая грусть **«Псалома»** восходит к действительным событиям, происходившим в доме № 10 по Большой Садовой улице в Москве, где в 1921—1924 годах жил сам автор, не имеющий на этот раз с рассказчиком ничего общего. Опубликовано впервые в газете «Накануне» за 23 сентября 1923 года.

Литературный этюд **«Муза мести»** о творчестве Н. А. Некрасова был написан в октябре 1921 года, когда Булгаков работал секретарем Литературного отдела Главполитпросвета, но опубликован тогда не был. В сокращении выходил в «Неделе» за 26 ноября — 2 декабря 1984 года и в «Вопросах литературы», 1984, № 11. Печатается по этим изданиям со сверкой и восстановлением пропущенно-

текста по сохранившейся авторской машинописи в Центральном государственом архиве РСФСР: фонд 2313, опись 6, дело 300.

Вполне автобиографический рассказ **«Воспаление мозгов»** *впервые вышел сборнике «Булгаков Михаил. Юмористическая иллюстрированная библиотека курнала «Смехач», № 15. — Л., 1926.*

«Дневник Н. Н. Лямина» *публикуется впервые по автографу, хранящеуся в архиве М. А. Булгакова Отдела рукописей Государственной библиотеки ССР имени В. И. Ленина: фонд 562, картон 17, единица хранения 19. Дополительные пояснения по именам: Боб — Б. В. Шапошников, искусствовед и хуожник, коллега Н. Н. Лямина по работе в Государственной Академии худоественных наук. Зойка — героиня пьесы Булгакова «Зойкина квартира», котоую в театре имени Евг. Вахтангова играла Ц. Л. Мансурова. Блюм — . И. Блюм, театральный критик, один из руководителей Главреперткома. Пея Попов — П. С. Попов, филолог, друг и первый биограф Булгакова.*

Набросок **«Был май»** *продиктован автором 17 мая 1934 года Е. С. Булгаовой как первая глава будущей книги о путешествии по Европе. Однако поездка е состоялась. Опубликовано впервые — «Аврора», 1978, № 3. В центре произвеения — шарж на драматурга В. Киршона, вернувшегося в мае 1933 года из заграничной поездки, и его пьесу «Суд», поставленную во Второй студии МХАТ.*

Борис МЯГКОВ

СОДЕРЖАНИЕ

БУЛГАКОВ Михаил Афанасьевич

БЫЛ МАЙ

Из прозы разных лет

Составление, подготовка текста Б. С. Мягкова

Редактор З. И. Золотова

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 1.10.91. Подписано к печати 11.11.91. Формат 70 × 108 1/32. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 2,93. Тираж 80000 экз. Зак. 954. Цена 25 коп.

Типография издательства «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.